

Pro et Contra

№ 4 (33) 2006



Том 10

ЖУРНАЛ РОССИЙСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Выходит шесть раз в год

Главный редактор

Мария Липман

Заместитель

главного редактора

Александр Стариков

Редактор

Наталия Иванова

Ответственный

секретарь

Анна Солодуха

Дизайн

Лидия Левина

Верстка

Дмитрий Басистый

Проверка и корректура

Арнольд Кун

Консультационный совет

Владимир Барабановский

Борис Дубин

Фарид Закария

Томас Карозерс

Эндрю Качинс

Анатоль Ливен

Мари Мендрас

Вадим Радаев

Кирилл Рогов

Валерий Тишков

Дмитрий Тренин

Лилия Шевцова

Константин Эггерт

Евгений Ясин

Учредитель

Фонд Карнеги

за международный мир

(Carnegie Endowment

for International Peace)

Издание осуществляется

при материальной

поддержке

Фонда Макартуров

Издание зарегистрировано в Комитете по печати РФ. Свидетельство о регистрации № 015220 от 26 августа 1996 года

Адрес редакции: 125009, Москва, ул. Тверская, 16/2, Московский центр Карнеги

Телефон: (495) 935-8904. Факс: (495) 935-8906

E-mail: editor@carnegie.ru. Электронные версии: <http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra/>

ISSN 1560-8913

Распространяется бесплатно. Подписано в печать 13 сентября 2006 года. Формат 60x90 $\frac{1}{8}$. Тираж 4 000 экз. Издательство «Гендалльф»

© Carnegie Endowment for International Peace, 2006

ОТ РЕДАКТОРА

Телевизионное освещение важных для власти тем находится под полным контролем Кремля. На сегодняшний день в эфире федеральных телеканалов не может появиться ничего неприятного или неожиданного для верхового руководства страны. Телевизионная коммуникация уже давно стала односторонней: власть транслирует населению правильный с ее



точки зрения событийный ряд, строго дозируя внимание, уделяемое конкретным событиям, — что-то замалчивается вовсе, что-то упоминается вскользь, что-то настойчиво педалируется. Не менее тщательно отбираются и ньюсмейкеры: представители истеблишмента получают львиную долю новостного времени и неизменно благожелательное освещение. Дискуссия в прямом эфире сведена до ничтожного минимума, а в заранее записанных ток-шоу умелый ведущий, не особенно скрываясь, подыгрывает тому, кто выступает с «правильных» позиций. Представление о том, какая именно позиция правильная, не отличается от одного федерального канала к другому. Менеджеры всех трех неукоснительно разделяют ее с теми сотрудниками кремлевской администрации, в чьи задачи входит создание удобного для них образа России у ее граждан.

В середине 1990-х годов один из самых проницательных аналитиков российского телевизионного процесса, социолог Всеволод Вильчек сказал о тогдашнем НТВ, что это телевидение той России, какой она, возможно, станет в будущем — модернизированной, интегрирующейся в пространство западных рыночных демократий. Последние годы свидетельствуют о том, что развитие России не пошло в этом направлении; перефразируя слова Вильчека, можно говорить о том, что сегодняшний телезефир — это во многом телевидение той страны, которая осталась в прошлом. Телевидение России начала XXI

века mestами остро напоминает телепрограммы 1970-х, причем сходство не ограничивается единобразием позиции, благостностью тона в разговорах о верховой власти, бодрыми репортажами об успехах или пасквильными сюжетами о тех, кто зачислен по рангу врагов.

Дух семидесятых ощущается далеко за пределами собственно политической тематики и новостных передач, хотя нынешнее российское телевидение разнообразнее и свободнее и, разумеется, не живет в режиме тотальной превентивной цензуры. К тому же отечественное телевидение вполне современно и профессионально, оно активно осваивает западные технологии и форматы, успешно и творчески адаптирует их для российского зрителя. И все же значительная часть неполитических, развлекательных программ пропитана советским дискурсом, хотя идеологемы и мифология несколько утратили былую конкретность.

Настоящий номер *Pro et Contra* посвящен, главным образом, именно неполитическому телевидению и попыткам с его помощью выстроить новые идеологические подпорки для нации взамен утраченных с крахом коммунизма; при этом, как отмечают авторы журнала, в качестве строительного материала телевизионные мастера охотно используют обломки рухнувшей конструкции. Социолог **Борис Дубин**, написавший в последние годы целый ряд глубоких работ об отечественном телевидении, в данном выпуске журнала говорит о «симуляции возврата к привычным идеологическим ресурсам, остаточной риторике великороджавности и изоляционистским идеологемам “особого пути”, присутствующим на телеэкране». Автор смотрит на «политику развлечений» как на отдельное направление «эффективной политики», а в качестве основных несущих «моментов всей визуальной конструкции развлекательного» выделяет «клиповость и сериальность».

Флориана Фоскато пишет об участии медиа сообщества в создании с помощью телевидения новой идеологии путинской России, утверждая, что именно в этом «заключается основная цель

наблюдаемого в последние годы альянса Кремля с телевидением». В работе предложен анализ ряда отечественных сериалов и их вклада в конструирование национальной идентичности.

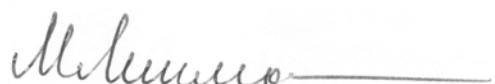
Тему сериалов продолжает **Нэнси Конди**, которая подробно разбирает многосерийный фильм Владимира Хотиненко «Гибель империи», снятый по заказу Первого канала российского телевидения. По мнению исследователя, «Гибель империи» дает нам некое условное представление о том, что можно было бы назвать «личностью государства». В представлении Конди она «воплощена в "расплывчатом" образе главного героя, контрразведчика Костина (не совсем Ленина, не совсем Сталина, не совсем Путина), и непосредственно проявляется в экономических и профессиональных условиях создания фильма».

Вера Зверева в качестве объекта своего исследования избрала телевизионные праздничные концерты – формат, максимально приближенный к своему советскому прообразу. По наблюдениям Зверевой, в праздничных телешоу «мысли о самопожертвовании, о постоянно возникающих чрезвычайных ситуациях, а также поиск неведомого врага чередуются с идеями о радостной повседневной жизни».

К теме СМИ примыкает работа **Андрея Рихтера**, который, как и Флориана Фоскато, рассуждает о проблемах медиасообщества. Автор рассматривает проблемы журналистской этики и саморегулирования журналистов. «Социальная ответственность журналистов повсеместно подменяется ответственностью по вертикали — перед государственной властью, — полагает Рихтер, — что неизбежно приводит к отчуждению средств массовой информации и журналистов от населения».

За рамками главной темы *Pro et Contra* публикует статью **Владимира Гельмана** о перспективах построения в России доминирующей партии. Гельман сравнивает российскую «партию власти» с мексиканской *PRI* — Институционно-революционной партией. Отмечая, что ряд черт мексиканского режима эпохи *PRI* во многом сходны с тенденциями политического развития сегодняшней России, автор подчеркивает, что, несмотря на значительные успехи в деле строительства «партии власти», «Кремль пока не сделал стратегический выбор в пользу одной из двух — недемократических — моделей». Речь идет о выборе между режимом, в котором доминирующая партия служит главным «стержнем», и моделью, основанной «на сохранении персоналистского господства главы государства».

Александр Кустарёв размышляет о том, что происходит с государственным суверенитетом в условиях глобализации. Автор считает, что суверенитет «не растворяется в процессе глобализации», а меняет «свое содержание и операциональность, будучи переосмыслен как ресурс, которым можно манипулировать». Глобализация, по мысли Кустарёва, не сужает, а, наоборот, расширяет возможности такого манипулирования. Проблему суверенитета обсуждает также **Иван Крастев** в рецензии на сборник, посвященный этой теме. Среди составителей и авторов сборника присутствуют те, кто участвует в кремлевских идеологических искааниях. Крастев предлагает свой взгляд на концепцию суверенной демократии. По его мнению, эта концепция «воплощает ностальгию путинской России по идеологической привлекательности, которой некогда обладал Советский Союз».



Мария Липман, главный редактор

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА НОМЕРА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ В ПОИСКАХ ИДЕОЛОГИИ

6 Суверенность по законам клипа и сериала

БОРИС ДУБИН

«Нынешний российский социум всё чаще называют сообществом телезрителей. Но у этого феномена есть и другая сторона: все более зрелищной – в смысле обращенной к зрителям – выступает российская власть. Отсюда, среди прочего, 90 проц. времени новостных передач канала «Россия», Первого канала, НТВ и ТВЦ, которые – по недавнему отчету Союза журналистов России – отданы показу первого лица, правительства, партии власти. Иначе говоря, телезависимыми оказываются и «публика», и «актеры». Как сформировался этот симптом и в чем его интерес для исследователей?»

13 Виртуальная политика и российское ТВ

ФЛОРИАНА ФОССАТО

«Коммерческие сериалы наподобие тех, что идут по каналу СТС, до последнего времени счастливо избегали идеологического подтекста. Однако в преддверии очередного выборного цикла (2007–2008) проблема не только национальной идентичности, но и национальной идеологии становится для Кремля все более актуальной. В этой связи вполне вероятно, что президентская администрация захочет воспользоваться огромным потенциалом государственных и коммерческих телеканалов, связанным с телесериалами».

29 Переживая чужую катастрофу: империя смотрит «Гибель империи»

НЭНСИ КОНДИ

«В сериале «Гибель империи» нам представлен переходный период от Империи-1 к Империи-2, от империи династической к империи

социалистической, с поучительными примерами благородства и честности, преданности и достоинства, трудовой дисциплины и жесткого деления на «своих» и «чужих». И мы, свидетели перехода от Империи-2 к Империи-3, занимаем в истории идеальное положение для того, чтобы осознать преемственность, профинансированную (что неудивительно) Первым каналом государственного телевидения».

38 Праздничные концерты: старый канон на новом ТВ

ВЕРА ЗВЕРЕВА

«Если следовать логике праздничных концертов, то можно заключить, что государству, его территориальной целостности и процветанию угрожают некие неназванные враги. Угроза, которая от них исходит, возвышает в глазах зрителей силовые структуры и вместе с тем обосновывает важный для российской политической культуры мотив мобилизации и вечной войны. Телевизионное послание таких программ сводится к следующему: долг россиян в том, чтобы быть готовыми переносить тяготы, отказаться от благ, приложить все усилия для преодоления невзгод и защитить «одинокую» Россию».

50 Саморегулирование журналистов в постсоветских государствах

АНДРЕЙ РИХТЕР

«Государство стремится контролировать решение профессиональных вопросов журналистского сообщества, а также деятельность органов саморегулирования журналистов, не пуская этот процесс на самотек. Поскольку речь идет о специфической сфере отношений, власть не наделяет органы саморегулирования судебными полномочиями, а этическим кодексам не придает силу законов, но затем, когда оказывается, что принятые меры неэффективны, а этические кодексы не выполняются, запускает процесс «принудительного саморегулирования» вновь и вновь».

СТАТЬИ**62 Перспективы доминирующей партии в России**

ВЛАДИМИР ГЕЛЬМАН

«Провозглашенная задача обеспечить доминирование “партии власти” в длительной перспективе наталкивается на серьезные препятствия, многие из которых имманентно присущи российскому политическому режиму. Вместе с тем персоналистская (неважно, во главе с Путиным или с кем-то другим) альтернатива режиму с доминирующей партией также выглядит малопривлекательной и сулит высокие риски российским элитам. Сопоставление двух возможных моделей недемократического режима в России заставляет вспомнить апокрифическую оценку Сталиным правого и левого уклонов в коммунистической партии: “оба хуже”. Вопрос в том, насколько вероятны какие-то другие пути эволюции нынешнего российского режима».

72 Государственный суверенитет в условиях глобализации

АЛЕКСАНДР КУСТАРЁВ

«Давно ли важнейшей прерогативой суверенного государства была консервация своей территориальности? Теперь, похоже, эта прерогатива уходит в прошлое. Манипулирование территорией сдерживалось не юридически, а идеологически, то есть культом “родной земли”, “родины”, но этот фактор становится все слабее,

по мере того как ослабляется националистический *Zeitgeist* и усиливаются рациональные соображения. Показательно, что авторитарные правители чувствовали себя в этом отношении свободнее, чем демократические нации... ТERRITORIALНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ, вообще говоря, никогда не претендовал на доктринальную неотчуждаемость территории. Он всего лишь означал право на распоряжение территорией, а это предполагает продажу, переуступку, сдачу в аренду, хотя также и сохранение за собой».

РЕЦЕНЗИИ**89 Суверенитет: Сборник / Сост. Никита Гараджа
ИВАН КРАСТЕВ****94 Егор Гайдар. Гибель империи: Уроки для современной России
СЕРГЕЙ ГУРИЕВ****102 Алексей Миллер. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования
СВЯТОСЛАВ КАСПЭ****108 Майкл Хардт, Антонио Негри. Множество: Война и демократия в эпоху Империи
ЭМИЛЬ ПАИН****116 Наши авторы****117 Contents and Summaries**

Суверенность по законам клипа и сериала

В России сверхцентрализованная власть с помощью современных коммуникативных технологий осуществляет направленную массовизацию социальной жизни | **БОРИС ДУБИН**

Блок статей о телевидении в аналитическом журнале, посвященном политике, сегодня не просто, что называется, «не случаен» — он симптоматичен и, можно сказать, давно назрел. Нынешний российский социум всё чаще называют сообществом телезрителей. Но у этого феномена есть и другая сторона: все более зреющей — в смысле обращенной к зрителям — выступает российская власть. Отсюда, среди прочего, 90 проц. времени новостных передач канала «Россия», Первого канала, НТВ и ТВЦ, которые — по недавнему отчету Союза журналистов России — отданы показу первого лица, правительства, партии власти. Иначе говоря, телезависимыми оказываются и «публика», и «актеры». Как сформировался этот симптом и в чем его интерес для исследователей?

Очень сжато политическую жизнь в России последних десяти, а в особенности — последних пяти, лет можно описать так. Примерно с середины прошлого десятилетия конфигурация всей области политического стала меняться. До этого она все-таки представляла собой сферу, в которой действовали нескольких разных, конкурировавших за влияние и поддержку политических сил с собственными целями и программами,

а они, по российским обстоятельствам конца 1980-х — начала 1990-х годов, с неизбежностью концентрировались на проблемах модернизации страны, реформах ее экономического и политического строя. Но постепенно эта область все больше сосредоточивалась на фигуре первого лица и тактике его сохранения в этом качестве (свою роль в данном процессе сыграло как уничтожение оппозиции в октябре 1993-го с применением военной силы у стен Белого дома, так и политический итог случившегося — парламентские выборы в декабре того же года, первый крупный провал демократических партий и ожиданий, помноженный на триумф Жириновского). Укреплявшаяся публичная риторика стабильности и порядка,держанная тогда, напомню, большинством российского социума, зафиксировала этот сдвиг — с задач политики на *проблемы власти* при сведении последней к географическим *пределам Кремля*, даже еще уже — к закулисным интригам и схваткам под кабинетным ковром вокруг одного лица. Соответственно с политической авансценой и из публичной речи достаточно быстро исчезли лица, партии, идеи, символы, напоминавшие о «перестройке», «демократизации», «разделении и балансе властей» и тому подобных центробежных предметах.

Решающий перелом здесь, включая смену не только типажей, но и самой стратегии кадровых назначений «на верхах», обнаружился в обстоятельствах президентских «выборов без выбора» в 1996 году, а проявился, понятно, уже после них. Того принудительного согласия в стране, ведшей открытую войну на собственной территории, среди населения, недовольного президентом и его командой, распадом СССР и ухудшением жизни, на которое пошли тогда разные слои социума и которое принесло Ельцину победу, вряд ли удалось бы добиться без самой активной поддержки со стороны массмедиа. И главного, наиболее дешево-

радио и кино). Что при этом демонстрировалось? Конечно же, всего лишь сценические знаки власти, церемонии их коллективного признания, символического единения вокруг них – если воспользоваться давней формулой Михаила Ямпольского, «власть как зрелище власти»². Механизмы принятия решений, проведение их в жизнь, подбор исполнителей, последствия действий, уровень профессиональности и эффективности, цена, ответственность – все это по-прежнему оставалось за кадром и вне обсуждения. И даже еще плотнее окутывалось тайной (манья подозрительности, эпидемия мнимых заговоров и разоблачений – выражение

“Публичная риторика стабильности и порядка зафиксировала сдвиг с задач политики на проблемы власти”.

го для зрителя и популярного из них – телевидения. По крайней мере, так было представлено дело политическими референтами и консультантами президента, связанными с ними менеджерами основных телевизионных каналов.

В результате вторая половина девяностых стала в России периодом становления «нового» медиаобщества¹, совершенно иначе – по сравнению с рубежом 1980–1990-х годов – встроенного в также трансформировавшуюся и готовящуюся к дальнейшим трансформациям систему государственной власти, – о подробностях этого процесса пишет в своей статье Флориана Фоскато (см. с. 13–28 этого номера *Pro et Contra*). Как оно не раз бывало в XX веке, в том числе в России, монопольный характер господства и упрощение социального многообразия («единство нации») повлекли за собой церемониализацию политики, прежде всего в аудиовизуальной форме. На данной технологической фазе – в виде телезрелища (десятилетиями раньше для подобных целей использовались

именно этой закрытости *реальной*, не телевизионной власти).

Данное обстоятельство – виртуальную инсценировку, «игру во власть», и пассивность дистанцированной от нее публики – я и подразумеваю, говоря о церемониальном характере политической жизни в России путинских лет³. Частичному возвращению к привычной для советской России номенклатурной практике подбора кадров по принципам закрытости, корпоративности, землячества соответствовало частичное же возвращение, а точнее, симуляция возврата к столь же привычным идеологическим ресурсам, остаточной риторике великодержавности, изоляционистским идеологемам «особого пути». Впрочем, в идеологии авторитарно-силовой режим не нуждался, так что и обломков вполне хватило, а уже их соединили с такими же обессмыслившими лейблами рыночности, профессионализма и проч. Главное – «создать покупаемый продукт».

Если политика становилась все более телевизионной, то и телевидение, со своей сто-

роны, все больше превращалось в рупор и заложника правительственной политики. И дело тут вовсе не ограничивается упомянутыми выше собственно пропагандистскими передачами на политические темы, процензуированными и заранее записанными новостями, заказными ток-шоу с участием околовластных поп-звезд, подбором исполнительских команд для этих постановок. Речь о второй половине сегодняш-

го» ТВ я бы для целей анализа выделил *клипостность и сериальность*.

Клип – простейший механизм эстетизации, ее исходная машинка. Рабочая функция этой игрушки – намеренное отстранение картины от наблюдателя и в этом смысле превращение его из просто смотрящего в зрителя. Клип построен на изобразительной метафоре, моментальном соединении несодинимого или хотя бы непривычного. Задача

“Монопольный характер господства и упрощение социального многообразия повлекли за собой церемониализацию политики”.

них российских телезрелищ – развлекательной, о политике развлечений как отдельном направлении «эффективной политики». Характерен в этом плане новый формат круглосуточного вещания канала ТВЦ с его упором на зрелищность и сериальность – объявлены сериалы семейные и молодежные; показателен повторный рекрутмент Леонида Парфенова теперь уже на Первый канал в качестве ведущего музыкально-развлекательной программы и т. д. В телеразвлечениях к концу девяностых уже сложился свой канон, и некоторые важные составные части этого канона (исторический сериал, праздничный концерт, а к ним можно было бы добавить ток-шоу, пресс-конференцию, кулинарную передачу, спортивное состязание и его пародию – соревнование в дуракавалении, премьеру нового российского фильма с его сиквелами) детально описаны в статьях Нэнси Конди и Веры Зверевой (см. соответственно с. 29–37 и с. 38–49 этого номера *Pro et Contra*). Ограничусь поэтому несколькими общими соображениями о симулятивной эстетике «нового большого стиля» с его эпигонской установкой на эклектику (тогда как симулируется некий «постмодернизм»). В качестве двух несущих моментов всей визуальной конструкции развлекательного, «неполитическо-

здесь – представить показанное как зрелище, специально демонстрируемое зрителю. Так («только для тебя», чтобы сделать твою «природу» еще «совершеннее» – «Красота от природы, совершенство от Тимотей») работает реклама, а клип всегда рекламен: изображение в нем уже становится рекламой, картишка – уже соблазном. Кроме того, клип – это экспресс, и потому он обычно использует шок, пусть мягкий, чисто изобразительный шок удивления (но может прибегать и к жесткому, на него опирается режиссура батальных и эротических сцен в коммерческом кино, показ ключевых моментов боксерских или борцовских поединков, да и любых других спортивных состязаний либо концертных номеров рапидом, в максимальном, натуралистическом приближении). Такова, в частности, функция крупных планов в подобных зрелищах. Крупный план теперь – в отличие от раннего режиссерского кино – не позволяет внимательнее рассмотреть происходящее, и прежде всего лица, глаза. Его задача, напротив, в том, чтобы экранировать фон своего рода ширмой, заслонить глубину кадра, превратив броскую картинку, ударный эпизод в чистую метафору зрелища. Лицо героя здесь – яркое, красочное пятно, не больше; взгляда нет – глаз актера превра-

щен в изображение. Важно сделать смотрящего зрителем, приковать его к зрительскому креслу или дивану и удерживать его в этом отчужденном, «подвешенном» состоянии. Именно на это сегодня работают еще и высокотехнологичная цифровая аппаратура, всевозможные Dolby-Stereo, домашние кинотеатры и т. п., телереклама которых, кстати говоря, представляет собой точно такой же клип со встроенным в него «шоком мягкого действия».

Другим, я бы даже сказал, противоположным способом выстроена телевизионная реальность ежевечерних сериалов; напомню, что по всем четырем основным каналам российского ТВ каждый вечер в прайм-тайм – от 19.00 до 23.30 – демонстрируются, как минимум, два отечественных игровых многосерийных фильма⁴. Чемпионом тут стал прежний лидер гласности, критичности, аналитичности – канал НТВ: каждый вечер на этом канале в указанные часы идут три отечественных сериала и один импортный – в последние месяцы это американский «Секс в большом городе» (так сказать, не только спалили Карфаген дотла, но еще и

нацией между ними, – нет *драматической* структуры. Сериал не может быть трагедией, как трагедия не может сериализоваться: она персональна, бесповоротна и однократна (в этом, на мой взгляд, принципиальный просчет сериалов по «Мастеру и Маргарите» и «В круге первом» – вне зависимости от личных намерений режиссеров, актеров, съемочных групп). В сериале царит эстетика бесконечной отсрочки, нескончаемого «и т. д.».

Постоянное повторение как механизм замедления, откладывания действия, «убивания времени», с одной стороны, самой конструкцией убеждает публику, что все нормально и ничего неожиданного, малоподнятного, тревожного произойти не может. С другой – сериал погружает зрителей в мир относительно нового – профессии, одежда и обиход героев, детали городской и квартирной обстановки, отдельные элементы речи как будто бы относятся к нынешнему дню – как привычного, всегдашнего. На это работает практически неизменный актерский ансамбль едва ли не всех нынешних отечественных многосерийек (с таким ощущением

«Если политика становилась все более телевизионной, то и телевидение все больше превращалось в рупор и заложника правительственной политики».

засыпали его пепел солью). Действие сериала в обеих его основных российских разновидностях сегодня, будь то сериал семейно-мелодраматический или комедийный, будь то уголовно-детективный, намеренно растянуто. Это – время без событий, построенное на многократном повторении. Оно в состоянии раздвигаться, когда в рамку уже показанного вставляют новый поясняющий эпизод либо целую серию, а также способно до беспредельности замедляться. Важно, что у него нет отмеченного начала и неотвратимого конца с обязательной кульми-

давно знакомых лиц и манер мы смотрели в шестидесятых годах венгерские или чешские кинокомедии). И еще один момент: привычное становится в сериалах художественным, игровым, иллюзорным, а то и дурацким – не только приукрашенным, но и «всего лишь фильмом». Клип уничтожает время посредством взрыва, сериал – посредством расстояния. Если функция клипа – производство экстраординарности, *шок*, то функция сериала – производство привычки, *адаптация*. А между двумя этими модусами, режимами окружающей жизни существует в России

не только ежевечерний зритель, но и просто повседневный человек. Собственно этот человек, структура его сознания, ориентиры, установки, привычки восприятия и есть, хочу подчеркнуть, главный «продукт» нынешнего телевидения. Эффект реальности для сегодняшнего рядового россиянина — это эффект сериальности.

Оба этих определяющих момента самым серьезным образом повлияли на стилистику показа политики. И продолжают определять ее как эстетическую фикцию, построенную по законам ежедневного телевизионного сериала и рекламного, может быть — предвыборного, клипа (вряд ли нужно объяснять, что слово «эстетический» здесь не равнозначно ни благообразию, ни привлекательности). Больше того, они в немалой степени изменили за последнее десятилетие весь визуальный мир массового человека — можно сказать, они этот мир, а во многом и этого человека сформировали. Тем самым телевидение средствами его наиболее популярных жанров не только создало новый контекст для происходящего, который обратным порядком воздействует, в свою очередь, на это происходящее, но и во многом сформировало новый взгляд на окружающее, новую оптику его восприятия.

В частности, я имею в виду все более дробную реальность телеэкрана, рубленое изображение действия, когда оно наречено на мелкие эпизоды и каждый строится как отдельная сцена, номер, аттракцион, словно вне связи с другими, предыдущими либо последующими (это поддерживается все более широким распространением устройств дистанционного переключения каналов). Но не только: изменилась сама телекартина, в ней, будь то политическая новость или сводка с фронта, политическое ток-шоу или светская презентация, все чаще узнаешь рекламный клип. Вместе с тем они привели к коренной трансформации «пра-

вил» поведения на экране. Например, сделали другой актерскую игру, даже почерк мастеров: легко видеть, что участвующие в съемках актеры, включая, бывает, крупных, будто стали играть «плохо», «непрофессионально». Дело здесь, я думаю, не в подхалтуриении, хотя и оно, конечно, имеет место, а в новой эстетике заведомо массовидного зрелища, последовательно отказывающегося быть лучше, сложнее, изобретательнее, если угодно — элитарнее. И уж если употреблять слово «халтура», то халтурят здесь не просто артисты или съемочная группа. Свою не просто симулятивную, но и халтурную природу обнажила российская действительность — социальная, политическая, культурная, церковно-религиозная, бытовая.

Могут спросить, да нередко и спрашивают: а что «у них там» или «у всех» разве не так? Человечество становится все более массовым, мир — телевизионным, общество — спектаклем (см. хотя бы нашумевшую еще когда книгу Ги Дебора и т. д.). Давайте разберемся, по неизбежности — коротко. Конечно, любой серьезный социальный процесс, в том числе такой крупномасштабный, цивилизационный перелом, как модернизация (а нынешняя глобализация — его поздняя фаза, разворачивающаяся после эпохи модерна и построения в крупнейших странах Запада массовых обществ), не может не сопровождаться, не дублироваться коллективным символизмом, разыгрыванием в публичном пространстве своего рода «ритуалов модернизации», если воспользоваться выражением американского антрополога Джеймса Пикока⁵. Но подобные ритуалы на Западе — как раз это обстоятельство я хочу сейчас отметить — обычно разворачивали и довершали модернизацию на массовом уровне социума, когда «наверху», в сфере экономических, политических, правовых институтов она уже так или иначе произошла, а ее результаты формально и устой-

чиво закрепились. Различались же подобные ритуалы от страны к стране, от эпохи к эпохе в зависимости от характера модернизации — кто, с какими ориентирами, в чьих интересах и с опорой на кого, какими средствами ее проводил, — а также от фазы процесса, на которой исследователь его застывал (скажем, вышеназванный Пикок изучал их на примере импровизированных представлений бродячего уличного театра в сукарновской Индонезии начала шестидесятых, и, как показало время, до завершения модернизации в Индонезии было куда как далеко).

В любом случае такие ритуалы создавались и воспроизводились, еще раз подчеркиваю, *вместе* с модернизацией либо ей вслед, но не *вместо* нее. И не средствами государственной политики. Не с активным участием первых лиц государства. Не в ситуации, искусственно доведенной до безальтернативности (что, собственно, сегодняшний телезритель может выбирать?). Так что в популярной сейчас у западных публицистов теме «электронной демократии» или, в другом варианте, «дигитальной демократии» ударение стоит на слове «демократия» (она здесь — основной предмет забот и тревог, новейшая техника — ее обеспечение), а у нас в стране — на слове «электронная» (в смысле всего лишь электронная, другой как не было, так и нет, и новейшая техника — средство ее *не допустить*).

Сегодня в России мы имеем дело как раз с направленной массовизацией социальной жизни сверхцентрализованной властью, вооруженной современными информационно-коммуникативными технологиями и специалистами по ним, без модернизации основ-

ных институтов социума, больше того — под контрмодернизационной риторикой особости и с ностальгией по «великой державе» (напомню реплику нынешнего президента о «крупнейшей геополитической катастрофе XX века, распаде СССР»). Ключевыми точками этого процесса были, как отчасти говорилось выше, события на политической авансцене и в самом устройстве власти, развернувшиеся в 1993—1994, 1995—1996, 1999—2001, 2003—2004 годах. И так же, как

“Рабочая функция клипа — намеренное отстранение картины от наблюдателя и в этом смысле превращение его из просто смотрящего в зрителя”.

в начальной точке этого пути вниз обстрел Белого дома и первая чеченская война заставили Ельцина свернуть начавшиеся реформы, так панический страх перед «цветными» и «ситцевыми» революциями парализовал в конце какие бы то ни было прореформаторские шаги отдельных членов путинской команды. Государство всякий раз останавливал страх перед расширением круга политических партнеров (нежелание поступаться даже частью властных полномочий и привилегий), большинство населения — страх оторваться от государственной опеки и того весьма скромного уровня жизни, который удалось себе худо-бедно сохранить или обеспечить. Боязнь другого, боязнь перемен (советское, тоталитарное наследие). И вот среди результатов произошедшего, которые вряд ли кто-нибудь где-то предвидел, планировал или заказывал, — нынешняя *символическая власть* и ее *церемониальная политика* (от экономической до внешней), слой *выдвиженцев, назначенцев и порученцев власти* (раньше я описывал их как «новых распорядителей»), включая ее теперешних массмедиальных визажистов, и пассивно-адаптирующееся общество зрителей, живущих между привычным и чрезвычайным. Если *homo faber* в совет-

в начальной точке этого пути вниз обстрел Белого дома и первая чеченская война заставили Ельцина свернуть начавшиеся реформы, так панический страх перед «цветными» и «ситцевыми» революциями парализовал в конце какие бы то ни было прореформаторские шаги отдельных членов путинской команды. Государство всякий раз останавливал страх перед расширением круга политических партнеров (нежелание поступаться даже частью властных полномочий и привилегий), большинство населения — страх оторваться от государственной опеки и того весьма скромного уровня жизни, который удалось себе худо-бедно сохранить или обеспечить. Боязнь другого, боязнь перемен (советское, тоталитарное наследие). И вот среди результатов произошедшего, которые вряд ли кто-нибудь где-то предвидел, планировал или заказывал, — нынешняя *символическая власть* и ее *церемониальная политика* (от экономической до внешней), слой *выдвиженцев, назначенцев и порученцев власти* (раньше я описывал их как «новых распорядителей»), включая ее теперешних массмедиальных визажистов, и пассивно-адаптирующееся общество зрителей, живущих между привычным и чрезвычайным. Если *homo faber* в совет-

ской России, можно сказать, так и не родился (не будем преувеличивать трудовой энтузиазм строителей сталинских десятилетий: стройки века не поднялись бы из котлованов без армии заключенных), то *homo disruptor* взлетных лет «перестройки» на наших глазах сменился *homo spectator*²ом периода так называемой «стабилизации», «охраны безопасности» и «защиты национальных интересов». ■

ПРИМЕЧАНИЯ ¹ О начальных стадиях этого процесса см.: Мухин А. Информационная война в России. М.: Центр политической информации, 1999; Засурский И. Масс-медиа Второй Республики. М.: Изд-во МГУ, 1999.

² Ямпольский М. Власть как зрелище власти // Киноспекции. 1989. № 5. С. 176–187; Ямпольский развивал здесь разработки французского исследователя культуры, семиотика Луи Марена. В последние годы эту проблематику исследует французский философ Марсель Энафф (см.: Hénaff M. The Stage of Power // *Substance*. 1996. № 80 (Fall), P. 7–29; *Public Space and Democracy* / M. Hénaff, T. B. Strong (eds). Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 2001).

³ Подробнее я писал об этом в статьях: Симулятивная власть и церемониальная политика.

tator взлетных лет «перестройки» на наших глазах сменился *homo spectator*²ом периода так называемой «стабилизации», «охраны безопасности» и «защиты национальных интересов». ■

О политической культуре современной России // Вестник общественного мнения. 2006.

№ 1 (81). С. 14–25; Массмедиа и коммуникативный мир жителей России: пластическая хирургия социальной реальности // Там же. 2006. № 3 (83). С. 33–46.

⁴ Феномену сериализации в связи с экранизациями «советской классики» нескольких последних лет был посвящен недавно блок аналитических материалов (см.: Возвращение «большого стиля»? // Новое литературное обозрение. 2006. № 78 (2). С. 271–325).

⁵ На этом материале была написана его первая, многократно переиздававшаяся потом книга: Peacock J.L. Rites of Modernization. Chicago: Univ. Chicago Press, 1968.

Виртуальная политика и российское ТВ

Национальное телевидение готово стать основным инструментом распространения новой идеологии | **ФЛОРИАНА ФОССАТО**

Cреди российских политической и медийной элиты бытует мнение, что с помощью телевидения можно мифологизировать общественно значимые фигуры (идет ли речь о политических деятелях вроде Владимира Путина или о разведчиках, защищающих Родину, вроде знаменитого Штирлица); политические обозреватели часто называют телевидение «оружием Кремля»¹.

Однако такую точку зрения разделяют не все. Проводя аналогию с советской эпохой, одна из самых глубоких исследовательниц советских и российских СМИ Эллен Мицкевич отмечает «характерное для советских времен представление о невероятной силе воздействия телевидения на зрителей»². По мнению Мицкевич, это весьма распространенное убеждение вместе с тем является сильным преувеличением, поскольку при этом недооценивается способность советской, а теперь российской зрительской аудитории читать между строк и придерживаться собственного суждения, несмотря на очевидные попытки манипуляции со стороны телевидения.

Позиция Мицкевич, основанная на результатах проведенного ею социологического исследования, по всей видимости, верна, но с некоторыми оговорками. Россияне, вклю-

чая и молодое поколение, лишь в незначительной мере испытавшее воздействие советской пропаганды, действительно прекрасно улавливают попытки манипулировать их сознанием и различают ложь в СМИ.

Однако хотелось бы указать на одно наблюдение, сделанное российскими социологами (и прежде всего первопроходцем в этой области Юрием Левадой), которое основано на ответах участников фокус-групп. Анализируя результаты опросов общественного мнения за несколько десятилетий, Левада обращает внимание на двойственное отношение (он называет это «двоемыслием»)³ большинства россиян к своему прошлому и настоящему, в том числе к политическим событиям, начиная со сталинских времен.

Левада объясняет эту двойственность сознания, или самообман, инстинктом самосохранения, унаследованным еще с советских времен. «Советская эпоха, — пишет он, — декларировала новую, универсальную по своему значению и абсолютную по своим источникам (от имени и по поручению исторического прогресса...) нормативно-ценостную систему, созданную заменить или подчинить себе все существующие. На деле

ЭТЫЙ МАТЕРИАЛ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН В КАЧЕСТВЕ ДОКЛАДА НА КОНФЕРЕНЦИИ «СМИ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ» (УНИВЕРСИТЕТ СУРРЕЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 6–8 АПРЕЛЯ 2006 Г.)

она лишь меняла знаки и термины в некоторых нормативных полях и надстраивала над ними еще одно. Формула “нравственно то, что полезно...” (в декларативных вариантах — “трудовому народу”, “делу коммунизма” и т. п., в реальном значении — “что соответствует планам и указаниям свыше”) возводила в абсолют сугубо утилитаристскую нормативную систему⁴.

Поскольку предъявляемые требования были «принципиально невыполнимы», людям ради собственной психологической и физической безопасности приходилось различными способами формально приспособливаться к системе, в то же время постоянно выискивая лазейки и создавая различные неофициальные сети, которые позволяли им обходить эти невыполнимые предписания.

Применительно к данной статье важнее всего следующее: Левада (в отличие от других исследователей, которые ставят во главу угла всесильную и бдительную систему государственного контроля над населением) подчеркивает, что система не могла бы работать столь успешно, если бы она опиралась только на массовое принуждение и массовый обман. «Сейчас ясно, насколько наивными были распространенные и в 1960-х, и еще в 1980-х годах представления о надувательстве народа со стороны всезнающей и предельно циничной партийно-политической верхушки... Лукавый человек — на всех уровнях, во всех его ипостасях — не только терпит обман, но готов обманываться, более того — постоянно нуждается в самообмане для того же (в том числе психологического) самосохранения, для преодоления собственной раздвоенности, для оправдания собственного лукавства»⁵. Тем самым всепроникающее влияние телевидения, скопее всего, не настолько уж и преувеличено, как полагает Мицкевич, поскольку оно допускает двойственность сознания, упомянутую Левадой. С одной стороны, зрители ощуща-

ют свою причастность к событиям, которые они видят на экране, с другой стороны, они не чувствуют себя ответственными за них.

Обсуждая рост и падение популярности различных политических деятелей в 1990-х, Левада подчеркивает влияние средств массовой информации на российское общество. Картина действительности (то есть телевизионный контекст «виртуальной политики»), предложенная зрителю российскими государственными телеканалами в 1990-х годах и получившая более широкое распространение со времени появления на сцене президента Владимира Путина, несомненно, воздействует гораздо сильнее, чем просто информация о политических платформах и деятельности тех или иных политиков. В этом смысле тезис Левады: «Невидимое на экране не предъявлено обществу» — совпадает с мнением тех социологов, политиков и экспертов по СМИ, кто подчеркивает огромное влияние телевидения на людей и говорит о необходимости изучать взаимодействие между политикой, СМИ и обществом в России.

Телевидение как средство политического и культурного воздействия

В Советском Союзе телевидение активно вошло в жизнь людей в 1970—1980 годах, а в 1990-х оно стало непременным ежедневным спутником для 9 из 10 россиян и основным источником информации о стране и мире для подавляющего большинства граждан Российской Федерации. По мнению социолога Даниила Дондурея, «в последнее десятилетие завершается великая виртуальная революция, в результате которой обе реальности — эмпирическая, в которой мы движемся, дышим, действуем, живем, и телевизионная, отредактированная, придуманная и показанная нам с экрана, — окончательно “схлопнулись”, в психологическом плане практически совместились, и телевизион-

ная теперь воспринимается, переживается, предопределяет наши реакции совсем как “настоящая”, “всамделишная”»⁶.

Александр Роднянский, руководитель одной из крупных телевизионных сетей России – СТС, пошел еще дальше в оценке влияния телевидения на зрителей, уделяющих ему много времени и внимания, и заметил, что «телевидение – это единственная реальность, в которой мы существуем» (курсив мой. – Ф.Ф.)⁷.

Западные исследователи подходят к изучению советских и постсоветских СМИ либо с точки зрения западных ценностей («свобода информации», «свобода СМИ»), рассматривая наиболее очевидные элементы машины государственного контроля, либо руководствуясь необходимостью проанализировать технические параметры развития медиа рынка в постсоветской России. Между этими двумя подходами, как правило, очень мало общего, а их приверженцы обычно игнорируют выводы друг друга.

Однако представляется важным исследовать в совокупности, какую роль выполняет и как функционирует не только телевизионная среда, но и телевизионный рынок в России, чтобы понять, как организована система влияния в ситуации, когда телеэкран постепенно становится единственным существенным

и выполняемой ими роли; при этом предметом исследования будут более чем 1 000 телекомпаний, вещающих на территории Российской Федерации, а сам анализ не должен ограничиваться такими факторами, как контроль и собственность.

Все большее число экспертов отмечают, что федеральное российское телевидение, особенно после 2004 года (то есть с начала второго срока президентства Путина), несмотря на огромные технологические изменения, напоминает советское телевидение 1970-х. Стиль и содержание информационных передач за последние несколько лет обрели поразительное единство, а ведущие новостных программ, в 1990-х годах во многих случаях выполнявшие роль телевизионных гуру, теперь заменены на бюрократов, которые с разной степенью профессионализма доносят до зрителя официальную – государственную – точку зрения.

Такое развитие событий – яркое свидетельство того, что неспособность журналистов и руководителей СМИ создать в 1990-х сильные и саморегулирующиеся профессиональные команды (которые могли бы закрепить такие этические ценности, как честность, независимость и профессионализм) способствовала возникновению реакционной ситуации, позволившей государству

“Неспособность журналистов создать в 1990-х сильные профессиональные команды позволила государству вернуть контроль над СМИ”.

средством общения между властью и гражданами. Такая ситуация сложилась вследствие целенаправленного ослабления президента Путиным всех политических институтов (кроме президентства) в течение двух сроков его пребывания у власти. Здесь важно провести различие между федеральными и региональными средствами массовой информации с точки зрения их функционирования

после 2000 года вновь установить контроль на федеральном уровне с молчаливого согласия большинства россиян.

Однако в данной статье мы постараемся показать, что контроль и пропаганда – не главные цели нынешних российских властей. Несмотря на то что сегодняшние условия во многом напоминают период брежневского «застоя», правила поведения отли-

чаются от тогдашних. Теперь в первую очередь требуются лояльность президенту, pragматичная способность «включать» механизм самоцензуры и всеобщее желание восстановить мощь России и российское национальное телепроизводство – в пику пресловутой «американской колонизации» эфира. Руководители федеральных СМИ продемонстрировали готовность принять эти правила игры и следовать им и были приглашены к сотрудничеству с Кремлем в области телеви-

экране, стал слишком явным и невыносимым. Глобализация – это совсем необязательно обещание чего-то лучшего в будущем, она может рассматриваться и как угроза новой жизни, которую люди пытаются построить. Предел возможного был достигнут, нараспала волна критики в отношении глобализации, и потребовался частичный возврат к национальным ценностям. В такой ситуации общенациональные СМИ играют важнейшую роль»⁸. Рантанен права, утверждая, что

“Менеджеры федеральных телеканалов конкурируют между собой в попытке дать наиболее яркую и патриотическую интерпретацию историческим и сегодняшним событиям”.

зационной политики, а также к участию в создании с помощью телевидения новой идеологии путинской России. В этом, на мой взгляд, как раз и заключается основная цель наблюдаемого в последние годы альянса Кремля с телевидением.

Новая идеология, которая формирует-
ся с помощью телевидения, судя по всему, не ставит целью построение закрытого общества и не намерена возвращаться к советским временам в том, чтобы отменять рыночные принципы, действующие в сфере СМИ. Экономическая составляющая играет важную роль в привлечении pragматичных руководителей медиа, которые могут внедрять новые прибыльные телевизионные форматы, – но при условии, что они разделяют патриотические цели, направленные на укрепление национальной идентичности, и должным образом реагируют на то, что расценивается властями как угроза, которую несет с собой глобализация.

По словам Тери Рантанен, «в посткоммунистической России заимствованное содержание СМИ в конечном счете не дало людям того, что им было нужно. Разрыв между действительностью и тем, что изображалось на

«национальные медиасистемы наполняют содержание местными реалиями» и «создают структуру, основанную на представлении о “воображаемом обществе” национального государства»⁹. Именно из этого исходит предложенная формулировка «виртуальная политика на федеральном телевидении».

Руководствуясь тем же принципом, Кремль, единственный в последние годы влиятельный игрок на российский политической арене, ратует за то, чтобы телевидение информировало свою аудиторию относительно новых общественных норм. При этом подчеркивается необходимость не ограничиваться «стерилизованными» новостями, а использовать самый широкий спектр телевизионных форматов – от аналитических программ, комментирующих последние события, до разнообразных развлекательных и спортивных передач. Целью является помочь телезрителям разобраться в новых правилах социального поведения и заново обрести чувство единения и гордости, утраченное в 1990 е годы. Эти годы представляются как период хаоса и результат (говоря словами президента Путина) «крупнейшей геополитической катастрофы прошлого века»¹⁰ – крушения Советского Союза.

В этой связи стоит вспомнить утверждение Майкла Биллига о том, что «нацию следует воображать как уникальную общность в категориях времени и пространства. Ее надо представлять себе как сообщество, простирающееся во времени, со своим собственным прошлым и будущим; а также – в пространстве, охватывающем жителей конкретной территории»¹¹. Это рассуждение вполне соответствует той концепции, которая, по нашим наблюдениям, выстраивается на российских телекранах в течение последних нескольких лет. Примечательно, что российские элиты охотно и активно включаются в этот процесс, в то время как другие европейские нации заняты поиском путей деконструкции тех представлений о своих нациях, которые сложились еще в XIX столетии. Спустя 15 лет после распада СССР новая Россия только-только начинает обретать легитимность в глазах собственных граждан, используя для этой цели телевидение.

Кремль, вновь почувствовав силу после бурного периода 1990-х, стремится создать у граждан представление о легитимности своего политического, социального и экономического курса. Одновременно власть поддерживает ощущение стабильности, которое, в свою очередь, способствует формированию нового чувства национальной идентичности и устанавливает неразрывную эмоциональную связь с прошлым, причем как с имперским прошлым России, так и с советской эпохой, особенно с 1970-ми годами. Именно эти годы российские граждане в разных опросах последних лет характеризуют как наиболее стабильный и «демократический» период в российской истории XX века¹². Усилия руководителей федеральных телеканалов направлены на воспроизведение прочно укоренившихся в сознании национальных мифов прошлого; эта задача осуществляется с помощью целого ряда передач, в которых эмоциональная составляющая, особенно в том случае,

если она тяготеет к националистической риторике, явно преобладает над точностью информации.

Светлана Бойм отмечает, что в странах, прежде находившихся в сфере влияния Советского Союза, национализм совершенно естественно занял место коммунистической идеологии, поскольку понятия, которыми он оперирует, опираются на знакомые символы и темы: «Соблазн национализма – это соблазн возвращения домой и полного приятия: человек не должен сознательно выбирать эту позицию, он ее уже и так разделяет. Националистическая идеология пробуждает ностальгию по утраченному старому общему месту, заставляет каждого обратиться к собственным ностальгическим воспоминаниям и к семейным историям и предлагает план действий по очищению и восстановлению коллективного дома. Эта идеология предлагает утешительную общую биографию вместо непростой личной истории каждого, полной разлук и разочарований. Она обещает возродить благословенное детство нации, где нет отчужденности и потерь, пережитых в зрелые годы»¹³.

Показательно, что культурологические наблюдения Бойм совпадают с результатами исследований психологов, подчеркивающих, насколько важны впечатления, полученные в детстве и в ранней юности, для формирования личности и для накапливания особо значимых воспоминаний. Вполне вероятно, что это поможет специалистам по изучению СМИ и социальных проблем объяснить широко распространенную позитивную реакцию молодых российских телезрителей (что приводит в замешательство некоторых исследователей) на «советское», к которому возвращаются сегодняшние передачи, пусть и в несколько измененной интерпретации.

Одно и то же чувство в равной степени характерно для телезрителей старшего поколения.

ления и для тех, кто в 1970-е был еще ребенком или подростком, даже в том случае, если большинство из них и не помнят содержания информационных программ того времени. Как показывают опросы, обе группы респондентов говорят о чувстве стабильности и единения, будто все — «одна семья». Социолог Борис Дубин объясняет этот феномен тем, что, даже если какие-то детали в фильмах и сериалах о прошлом явно не соответствуют действительности, присутствие в них в качестве главных героев фигур, несущих мощный эмоциональный заряд, играет огромную роль и в конечном счете способствует появлению «конструируемых воспоминаний»¹⁴. Так что в этом смысле переписывание действительности обеспечивает ее непрерывность.

Практически все наиболее талантливые менеджеры федеральных телеканалов принимают непосредственное участие (и в известной степени даже конкурируют между собой) в попытке дать как можно более яркую и патриотическую интерпретацию историческим и сегодняшним событиям. В последние несколько лет это привело к появлению довольно пестрой телевизионной картины, которая стремится угодить главному телезрителю — Кремлю, но в то же время очевидным образом апеллирует и к чувствам массового зрителя. Успех у аудитории важен для выполнения политических задач; он достигается за счет большего разнообразия методов убеждения, которые выглядят достаточно современно благодаря постсоветским информационно-развлекательным и просто развлекательным форматам, но опираются на старые культурные мифы.

Культурные мифы и телевизионная мозаика виртуальной действительности

По мнению Светланы Бойм, «мифы — это общие места, повторяющиеся истории, которые воспринимаются как естествен-

ные в данной культуре; на самом деле когда-то они были “натурализованы”, а их исторические, политические и литературные оригиналы забыты либо скрыты. В России и в Советском Союзе, где на протяжении длительного времени в политической, административной и культурной жизни все было до крайней степени централизовано, мифология играла исключительно важную роль. Мифы различимы в разнообразных литературных и исторических текстах так же, как и в повседневной жизни»¹⁵.

Мифы помогают укреплять лояльность, и этот эффект тем более усиливается, если эмоциональный посыл сопровождается многократным повторением. Поэтому важно осознавать, что виртуальная действительность создается подконтрольными государству российскими федеральными телеканалами при помощи множества разнообразных передач. Эти передачи используют дискурс, который предлагает определенную интерпретацию истории и воспроизводится в новостях, документальных фильмах, аналитических программах и мини-сериалах. Поэтому, если мы ограничимся здесь анализом только какого-либо одного формата, нам не удастся продемонстрировать во всей полноте «эффект мозаики», который делает зрителя еще более восприимчивым к основным идеям.

Весьма характерный пример: на протяжении 2005 года был проведен целый ряд мероприятий, посвященных 60-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Освещение этого события в СМИ стало беспрецедентным по размаху и происходило в самых разнообразных форматах, включая сюжеты в новостных программах, множество документальных и художественных фильмов, ток-шоу и сериалы, воспевающие патриотизм, армию и военные усилия. Усилия же Кремля очевидным образом были направлены на то, чтобы поддержать

чувство национального единства, в основе которого – коллективная память о военных тяготах и успехах¹⁶. Один из несомненных результатов успешной кампании, проведенной СМИ, нашел отражение в исследованиях общественного мнения. Так, в опросе, проведенном Левада-центром в 2005-м, подавляющее большинство респондентов – 86 проц. – заявили, что главным событием российской истории была победа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне¹⁷. Опросы, проведенные другими организациями, дали примерно такие же результаты.

Военная тематика заслуживает особого внимания, поскольку начиная с 1999 года постсоветское федеральное вещание возвращается к ней постоянно. Особенно хотелось

главе с “отцом народов” Сталиным, который присматривает за матушкой-Русью и детьми-народами»¹⁸.

Такой тип мифологии, построенный на идеи защиты, укрепляя веру в существование постоянной угрозы для Родины. Онставил своей целью усилить патриотические чувства и сформировать национальную идентичность, взяв за основу совместное противостояние тем силам и странам, которые в определенный исторический период рассматривались как «враги». Сразу после Великой Отечественной войны воплощением образа врага была Германия, а в годы холодной войны врагами стали Соединенные Штаты и НАТО.

Наиболее популярные программы российского федерального телевещания после 2003

“То и дело возвращаясь к военной тематике и поддерживая ее актуальность, телевизионные элиты пытаются укрепить образ сильной страны”.

бы выделить три основные темы, которые дополняют концепцию патриотизма: война, бинарная картина мира («свои» и «чужие») и сталинская идея «советской семьи народов».

Эти темы занимают центральное место во всей советско-российской культуре XX столетия, и они же служат ключом к пониманию национальной идентичности. То и дело возвращаясь к военной тематике и поддерживая ее актуальность, телевизионные элиты так же, как и политические, пытаются укрепить образ сильной страны, используя для этой цели наиболее яркие и славные страницы советской истории.

Елена Прохорова дает следующее объяснение: «Советская мифология строится на двух символических осьах: горизонтальная ось “мы” (советский народ) – “они” (мировой имперализм, Белая гвардия, диверсанты) и вертикальная ось – иерархически выстроенная “Великая Советская Семья”, во

года активно использовали эту мифологию, исходя из принципа, что такого рода образы укрепляют лояльность граждан к государству.

События ритуализуются, чтобы сохранить стереотипы, а историческое прошлое, «дискредитированное» после распада Советского Союза, реабилитируется и в какой-то мере переписывается. В некоторых случаях это происходит с помощью такого повествования, которое искусно встраивает правду о циничном отношении сталинского режима к собственному народу (как, например, в фильмах «Штрафбат» и «Дети Арбата») в основной патриотический дискурс, подкрепленный еще и дореволюционными националистическими ценностями, поддерживаемыми православной церковью.

Фильм «Штрафбат» рассказывает о патриотическом жертвоприношении (но из-за цинизма советского командования – бес смысленном) целого батальона, состоявшего

го из заключенных ГУЛАГа (как политических, так и уголовников), которые сражались и погибли на Западном фронте во время Великой Отечественной войны. Многие зрители увидели основную идею фильма в критике сталинского режима и в реалистичном изображении роли заключенных ГУЛАГа в военных действиях. Однако это лишь то, что лежит на поверхности. За этим изложением событий кроется патриотический миф, который добавляет к художественной значимости сериала определенные политические нотки, способствующие «строительству нации» (*nation building*).

Основная идея «Штрафбата» заключена в том, что каждый советский гражданин, независимо от его политического статуса и религиозной принадлежности, был готов погибнуть за Родину и эта сплоченность перед

лицом безжалостного врага была единственной гарантией спасения. Наиболее эмоционально насыщенные сцены сериала сосредоточены в последнем эпизоде, когда сильный духом и исполненный терпимости православный священник благословляет всех солдат батальона перед последним сражением. На вопрос молодого солдата, могут ли евреи тоже получить благословение, священник отвечает: «У Бога все люди — дети. Много детей: православные христиане, мусульмане и других вероисповеданий. Одно святое дело делаем: Россию у врага отвоевываем». Последующая сцена сражения приобретает жертвенно-религиозный смысл, а звучащие за кадром церковные песнопения еще более его усиливают. Сам священник тоже участвует в сражении и, оказавшись одним из двух выживших солдат, становится свидете-

Кого и как показывают в телевизионных новостях?

Словацкая организация *MEMO-98*, специализирующаяся на мониторинге СМИ, совместно с российским Центром экстремальной журналистики провела исследование российских телевизионных программ в апреле и в мае 2006 года (до этого такое же исследование проводилось в марте 2006-го, и, поскольку его результаты ощущимо отличаются от последних данных, интересно указать их для сравнения). Используя качественный и количественный методы анализа, определили, кто, и как часто появлялся на экране в новостных программах в вечерний прайм-тайм, и каким был тон новостных сообщений. Мониторинг проводился в течение месяца на пяти федеральных телеканалах (принадлежащие

государству Первый канал, РТР и ТВЦ; НТВ, который находится под контролем «Газпрома»; и частный, но лояльный властям канал *REN TV*).

Исследование показало, что освещение событий с участием президента Путина было исключительно положительным или, по крайней мере, нейтральным и что информационные передачи подконтрольных государству телеканалов в целом 91 проц. своих политических новостей посвящали деятельности президента, правительства и лояльной Кремлю партии «Единая Россия» (в марте этот показатель составлял 85 процентов). Между тем партиям и отдельным людям, которые считаются противниками президентской и правительственной политики, за 31 день отве-

ли в совокупности всего 1 проц. эфирного времени (в марте — 2 проц.), причем их освещение было в основном негативным или нейтральным.

Первый канал в своих выпусках новостей уделил 93 проц. прайм-тайма (в марте — 91 проц.) сообщениям о деятельности властей, из которых 99 проц. (71 проц. в марте) были выдержаны в положительном духе. Канал «Россия» посвятил освещению деятельности властей 91 проц. эфирного времени (в марте — 88 проц.), причем на долю Путина пришлось 30 проц., на долю правительства — 40 проц., на долю «Единой России» — 19 проц., на долю кремлевской администрации — 1 проц. (соответствующие показатели в марте составили 19 проц., 53 проц., 14 проц. и 2 проц.), а на долю ФСБ пришелся 1 проц. из указанных 91; тон передач также был либо

лем мистического явления Божией Матери, образ которой он видит высоко в небе, а затем, когда он бродит по полю сражения, закрывая глаза мертвым, обращается к Богу со словами: «Господи, прими души праведные с миром, прими святое воинство, защищившее землю русскую».

Фильм «Штрафбат», показанный по каналу РТР в 2004-м, имел огромный успех у российских телезрителей и, несмотря на некоторые оскорблённые отзывы со стороны военного начальства, стал своеобразной вехой в общей тенденции возвращения на телевидение темы Великой Отечественной войны. Вполне вероятно, что показ был санкционирован на самом высоком уровне, поскольку патриотическому мифу, заложенному в этом сериале, исподволь придавалось особое значение.

Светлана Бойм объясняет, что фрагменты мифа могут «проникнуть в любовное послание в виде выученного в советской школе стихотворения», поскольку в мифах «заключены общие культурные воспоминания и через них происходит коллективное самоосознание»¹⁹. «Чтобы понять российскую мифологию, — продолжает она, — недостаточно проследить ее происхождение в интеллектуальной истории, государственной политике или в обычной жизни. Нужно помнить, что мифы живут в культуре как магические заклинания, заученные или изложенные своими словами, но редко истолкованные критически»²⁰.

Телевидение и Владимир Путин

До 1999 года Владимир Путин был практически неизвестен широкой российской обще-

позитивным, либо нейтральным. На долю оппозиции пришлось всего 1,5 проц. (в марте — 0,6 проц.) эфирного времени, и интонация этих новостей была по большей части нейтральной (тогда как в марте большинство сообщений подобного рода носили негативный характер). Канал ТВЦ распределил примерно 84 проц. своего эфирного времени (в марте 90 проц. новостного времени было посвящено деятельности властей) между президентом (33 проц., в марте — 31), правительством (24 проц., в марте — 42), «Единой Россией» (25 проц., в марте — 16) и кремлевской администрацией (2 процента, в марте — 1 процент). Тон передач был либо позитивным, либо нейтральным. (Интересно отметить, что в марте на ТВЦ примерно 8 проц. времени из указанных 90 было посвящено мягкой критике властей.) Партиям и отдельным людям, которые счи-

таются оппозицией, было в совокупности отведено всего 3 проц. эфирного времени, и интонация была по большей части нейтральной. Канал НТВ уделил властям примерно 85 проц. эфирного новостного времени (в марте этот показатель составлял 88 проц.): президенту — 25 проц. (такой же показатель был и в марте), правительству — 44 проц. (в марте — 51), «Единой России» 13 проц. (в марте — 11), 1 проц. — кремлевской администрации (как в апреле и мае, так и в марте) и еще 2 проц. — ФСБ; тон передач был главным образом позитивным или нейтральным, но качественный анализ определил, что тон подачи новостей на НТВ более нейтральный, чем на других государственных каналах. Однако данные исследования показывают, что новости, связанные с президентом Путиным, освещаются исключительно в положительном либо

нейтральном свете. Канал REN TV (принадлежит российско-му частному бизнесу, лояльному по отношению к Кремлю, имеется также и немецкий собственник, но его участие не столь значительно) отвел освещению деятельности президента 21 проц. (в марте соответствующий показатель составлял 10 проц.), правительству 29 проц. (38 проц. в марте) и «Единой России» 18 проц. (16 проц. в марте), в то время как оппозиции, включая Коммунистическую партию, было выделено 15 проц. времени (в марте — 19 процентов). Качественный анализ показал, что и тон передач на этом канале был гораздо более сбалансированным, чем на других (подробнее о Memo-98 и о проведенном исследовании см.: www.memo98.sk/en/data/_media/Russia_2nd_report_final.pdf; www.memo98.sk/data/_media/Russia_first_report_eng.pdf).

ственности, но уже через год он был избран президентом при более чем существенной поддержке со стороны телевидения. К концу своего первого президентского срока Путин приобрел имидж сильного лидера новой России, благодаря определенному ракурсу освещения событий в новостных выпусках и усиленной мифологизации на государственных каналах. Особенно показательной в этом отношении стала одна из передач Первого канала российского телевидения (программы которого могут смотреть 98 проц. населения страны) в январе 2004-го.

Православное Рождество, телевизионная картинка напоминает рождественскую сказку: маленькая красивая церковь в зимней российской деревне вся покрыта безупречно белым, нетронутым снегом. Мастерски установленная подсветка (сзади, с боков и с вершин высоких деревьев, окружающих церковь) придает всей сцене вид идеально выстроенной открытки. Мир и покой — и никаких признаков присутствия человека. Но внезапно в кадре появляется одинокая фигура (которую мы узнаём по характерному путинскому движению плечом) и направляется к церкви. Камера перемещается медленно, следя за этим одиноким верующим, шагающим по снегу, чтобы встретиться с новорожденным Иисусом. С подобающей торжественностью православный священник с роскошной бородой выходит навстречу президенту. Пока они вместе идут последние несколько метров до входа, зрители могут почти физически почувствовать тепло внутри церкви, вдохнуть запах свеч, полюбоваться иконами. Внезапно небольшая и до этого остававшаяся за кадром толпа радостно приветствует президента. Свет падает на счастливые лица. Путин оборачивается, улыбается, машет рукой и входит в церковь, как бы символически ведя за собой своих единоверцев.

Передача вышла на экраны в январе 2004 года, а два месяца спустя Путин, отказавший-

ся от телевизионных дебатов со своими противниками в рамках предвыборной президентской кампании, был переизбран на эту должность подавляющим большинством голосов. На мой взгляд, именно та передача, о которой шла речь выше, была ключом к пониманию своеобразной «сакрализации» фигуры президента. Этот короткий репортаж эмоционально был гораздо более ярким, чем множество других передач, посвященных религиозным событиям, как, например, трансляции с торжественных пасхальных богослужений из храма Христа Спасителя в Москве, на которых Путин регулярно появляется, тем самым участвуя в ритуализации и легитимации власти вместе со всеми видными российскими государственными деятелями и, конечно, с патриархом Русской православной церкви.

В последние годы явно наметилась тенденция (которая прослеживается в ежедневных новостных выпусках) освещать общенациональные и религиозные события на федеральных каналах таким образом, чтобы в центре всегда оказывалась фигура президента Путина, играющего ключевую роль в формировании новой мифологии сильного государства.

Телевидение федеральное и региональное

С самого начала первого срока Путина внимание тех, кто интересуется российской политикой и положением дел в российских СМИ, было сосредоточено на том, какое давление стал оказывать Кремль на федеральные СМИ и на свободу слова в целом. Действительно, шаги по установлению прямого или косвенного контроля над основными средствами массовой информации, предпринятые властями с 2000 года, привели к тому, что большинство россиян оказались лишенны возможности получать объективную информацию на федеральном уровне. Однако было бы преу-

величением сказать, что не осталось вообще никакого простора для творческой деятельности. Чаще всего такие возможности сохранялись в региональных СМИ.

Российская медиаиндустрия, безусловно пострадавшая от политического давления, в последние несколько лет тем не менее устойчиво развивается, в том числе и на региональном уровне. Экономический рост и доходы от рекламы, вкупе с политическим покровительством, а также с активным внедрением новых технологий в сектор телекоммуникаций, способствовали небывалому расцвету российских СМИ.

“Было бы преувеличением сказать, что не осталось никакого простора для творческой деятельности; такие возможности сохранялись в региональных СМИ”.

Начиная с 1990-х в России было выдано около 2 300 лицензий на право вещания. Наряду с 17 основными федеральными каналами существуют и вещают еще более 1 000 компаний. Примерно в половине из них государству не принадлежит вообще никакой доли. Однако лишь немногие из этих компаний могут сказать, что их редакционная политика действительно независима. Многие компании производят местные новости, развлекательные и документальные программы, располагают полноценным штатом сотрудников и солидной клиентской базой, что позволяет им работать на основе устойчивого дохода от рекламы. Из телепередач россияне узнают новости о своих областях, районах, а иногда даже о деревнях, в которых они проживают.

25 проц. россиян, живущих главным образом в сельских районах, могут смотреть передачи лишь двух общенациональных каналов. Однако большую часть населения России составляют горожане, и это означает, что большинству россиян доступны передачи 3–16 каналов наземных вещательных станций

(каждый крупный город России имеет от 5 до 10 частных телестанций) ²¹.

Региональные каналы обычно связаны с местными политическими и финансово-промышленными группами и в значительной мере зависят от них в материальном отношении, а это означает, что их напрямую используют как средство борьбы во время местных политических баталий. Сотрудники этих каналов нередко числятся в платежных ведомостях своих покровителей, так что их едва ли вообще можно назвать журналистами. Многие из них, правда, с гордостью именуют себя «специалистами по связям с обществен-

ностью» ²². Степень вмешательства и политического и/или финансового давления заметно меняется от региона к региону.

В то же время коммерческие каналы в большинстве своем либо находятся в непосредственной собственности телесетей, базирующихся в Москве, либо связаны с одной из общенациональных сетей, распространяющих свои программы через спутник. Это позволяет региональным каналам передавать в эфир лицензированные программы, которые в противном случае оказались бы для них слишком дороги.

Например, региональная телевизионная сеть ТНТ, входящая в состав холдинга «Газпром-Медиа» вместе с НТВ и некоторыми другими крупными медиакомпаниями, владеет и управляет 15 телестанциями и 330 аффилированными телекомпаниями с общей потенциальной аудиторией в 76 млн человек ²³. Канал REN TV, выпускающий много собственных программ, имеет 410 региональных филиалов в России и в нескольких странах СНГ. Он владеет компаниями в 6 городах России, и его потенциальная ауди-

тория насчитывает 110 млн телезрителей²⁴. Наиболее быстро развивающаяся коммерческая телевизионная сеть СТС (первая российская телекомпания, которая в 2006-м успешно провела IPO) владеет и управляет 8 вещательными станциями и 330 региональными филиалами, которые вещают более чем на 1 000 крупных и средних городов по всей России²⁵.

Позитивная стратегия СТС

В последние годы многие региональные телевизионные менеджеры делают выбор в пользу СТС. В российской ситуации, где преобладают политические соображения, этот канал, который вообще не показывает новостей и сосредоточен исключительно на развлекательных программах, считается свободным от какого бы то ни было политического риска. Программы СТС, идущие в прайм-тайм, — это сериалы, ситкомы^{*} и ток-шоу. Более 50 проц. эфирного времени на СТС занимают программы зарубежного производства, и вполне можно сказать, что именно компания СТС, которая начала работать на российском рынке лишь в 1996 году, ответственна за некий концептуальный поворот, произошедший в постсоветском телевидении. Генеральный директор телеканала СТС Александр Роднянский, в сотрудничестве с Александром Акоповым, бывшим генеральным продюсером государственного канала «Россия» и основателем компании «АМЕДИА» (2002), которая является крупнейшим в России производителем сериалов и мыльных опер, успешно расширили репертуар этого специфического формата, выйдя за пределы криминальных тем, преобладавших в сериалах 1990-х.

СТС ориентируется на молодого российского зрителя, и философия телеканала (которая находит отражение в телепрограммах) состоит в том, чтобы предлагать зрителям привлекательную, современную и исклю-

чительно позитивную картину жизни в противоположность мраку и безысходности, которые часто преобладают на государственных каналах.

Александр Акопов явно разделяет такую концепцию. В 2000 году, еще работая на государственном канале, он говорил: «В течение многих лет все друг друга спрашивают, где наша национальная идеология, как она выглядит. И все эти годы в вечернем эфире — выпуски информационных программ, которые рассказывают исключительно о войне, коррупции и криминале». В то время как большинство зрителей, отмечает он, львишнюю долю своего времени «посвящают работе, семье, себе, в конце концов. Люди занимаются жизненными проблемами — добыванием хлеба насущного, воспитанием детей. Эти проблемы не рассматривались на ТВ... Сериалы говорят именно о реальных проблемах обычного человека. Главный мотив зрительского подключения к телесериалу — позитивный поведенческий пример. Это и психология, и идеология одновременно. Без масштабных позитивных примеров общество существовать не может»²⁶ (курсив мой. — Ф.Ф.).

Возможно, тогда, в 2000-м, государственные каналы и их руководители не были готовы к такому концептуальному пересмотру своей роли, особенно если учесть пренебрежительное отношение российской элиты (в том числе кинематографической и медиий-

* Ситком (от английского *sitcom, situation comedy* — комедия положений) — жанр многосерийного комедийного телевизионного шоу (программы), с постоянными персонажами и одним определенным местом развития событий, например дом или работа. Один из самых популярных видов телевизионной продукции в мире. Многие современные ситкомы снимаются в студиях в присутствии зрителей (отсюда взрывы смеха за кадром), после этого серии в течение нескольких дней монтируются и затем выпускаются в эфир. (Прим. ред.)

ной) к продукции, не отвечающей высоким стандартам российского искусства.

Однако коммерческое телевидение могло позволить себе отреагировать на подобный запрос. Это в состоянии сделать именно частный канал, поскольку он, в отличие от федеральных, государственных каналов, не испытывал политического давления, возникшего в начале нынешнего десятилетия из-за необходимости демонстрировать в ежедневных новостных выпусках лояльность новому кремлевскому руководству. В результате сотрудничества с «АМЕДИА» СТС превратился в наиболее быстро развивающийся в России телеканал и в 2005 году обогнал НТВ по популярности, став третьим по численности аудитории общенациональным российским телеканалом (после Первого канала и канала «Россия»).

“Философия телеканала СТС состоит в том, чтобы предлагать современную и исключительно позитивную картину жизни”.

В 2003-м СТС показал впервые сделанную на российском материале мыльную оперу «Бедная Настя», которая затем была продана в 30 стран, включая Латинскую Америку. Продюсировала этот сериал «АМЕДИА» в сотрудничестве с крупной голливудской компанией *Sony Pictures*. В 2004 году «АМЕДИА» и *Sony Pictures* выпустили первый российский ситком «Моя прекрасная няня», рейтинг которого в России был невероятно высок. Успех последнего международного продукта — «Не родись красивой» — с точки зрения реакции зрительской аудитории превзошел все предыдущие достижения: по имеющимся оценкам рейтинговых агентств, с 2005-го этот сериал в среднем смотрели 30 проц. россиян²⁷. Благодаря сериалу «Не родись красивой» СТС даже время от времени опережал чрезвычайно популярные шоу на других каналах, включая

и Первый канал — бесспорного лидера на российском рынке.

На мой взгляд, заслуживает внимания то, какую значительную роль играет международное сотрудничество в создании *позитивных* сюжетов на экране — историй, которые берут за основу реалии повседневной современной жизни, что так привлекает зрительскую аудиторию и к тому же обладает огромным воспитательным потенциалом. Как не раз за последнее время отмечали А. Акопов, А. Роднянский, Д. Дондурей и другие специалисты в области СМИ, российские сценаристы преуспели в телеэкранизации произведений русской и советской классической литературы. Исключительно успешные проекты, такие, как «Идиот», «Мастер и Маргарита», «В круге первом», показанные ведущими государственными телеканалами, фактически

представляют собой «видеокниги»²⁸, что отвечает сразу нескольким целям. С одной стороны, они выполняют образовательную функцию, пробуждая у зрителей интерес к классической литературе, в том числе к таким запрещенным в советские времена авторам, как Александр Солженицын. После выхода на экран каждого подобного сериала на полках книжных магазинов появляются произведения, послужившие основой для экранизации, что способствует как рейтингу продаж, так и распространению хорошей литературы.

Не менее важно и то, что эти сериалы выполняют и идеологическую функцию, помогая иначе воспринимать историю, изменяя память о прошлом, укрепляя чувство национальной идентичности, о чем уже говорилось выше. Как отмечают некоторые зрители старшего возраста, вспоминая свое «не столь отдаленное» прошлое, в новых сери-

алах все видится как будто в ностальгическом зеркале, на экране все выглядит «приукрашенным». Но как и в случае с фильмом «Штрафбат», ключевая идея, основное эмоциональное воздействие напрямую связаны с причастностью к «воображаемому сообществу», которое как раз и стремится создать сериалы.

Наконец, подобного рода сериалы/видео-книги – это жанр, в котором высокообразованные российские писатели, сценаристы и режиссеры, безусловно, добились огромного успеха. Таким образом, это дает прекрасную возможность преодолеть нынешний сценарный кризис, который «АМЕДИА» попыталась разрешить с помощью международного

сотрудничества и подготовки собственного нового поколения сценаристов. Продюсеры и руководители российских государственных телеканалов вряд ли могли (и, вероятно, не смогут и впредь) идти по тому же пути, что и частный канал СТС, особенно в условиях постоянно укрепляемой «вертикали власти». Повышенное внимание государства к проблеме национальной идентичности очевидным образом подразумевает пересмотр наиболее ярких страниц российской истории.

Что впереди?

Оба описанных выше направления обращены к одной и той же проблеме, но с разных точек зрения, и оба они обнаружива-

Технология международного производства телесериалов

Сотрудничество с *Sony Pictures* позволило российской стороне преодолеть продолжающийся в России сценарный кризис. Американские и латиноамериканские сценаристы уже давно овладели приемами, гарантировавшими зрительский успех ситкомов и мыльных опер. Российские сценаристы начиная с 1970-х годов работали совсем в другом формате: они производили телефильмы, нацеленные на более высокие художественные стандарты и потому менее чувствительные к потребностям коммерческого производства (см.: Акопов А. Серия как национальная идея // Искусство кино. 2000. № 2).

В случае с сериалами, которые производит компания «АМЕДИА» и которые выходят на СТС, Россия покупает права на показ у *Sony Pictures Television International*. В рамках этой сделки консультанты из *Sony Pictures* проверяют каждую деталь сценария и съемок. Сценаристы и режиссеры *Sony Pictures* пишут сценарии, которые затем переводятся на русский язык, и команда российских сценаристов и режиссеров адаптирует их к российской действительности, добавляя местный колорит и видоизменяя или даже вообще выбрасывая не знакомые российскому зрителю ситуации и образы. Например, рассказанная в сериале «Не родись красивой» история о некрасивой, но умной и отважной секретарше, которая работает в компании, торгующей модной одеж-

дой, и влюблена в своего босса, была придумана колумбийским режиссером Фернандо Гантану. Он написал сценарий на испанском языке, состоящий из 169 эпизодов-серий, и в 2000-м «теленовелла» по этому сценарию была признана самой рейтинговой в Колумбии. Позже российские авторы, работающие в постоянном сотрудничестве с опытными международными консультантами, адаптировали переведенный сценарий и перенесли действие фильма в Россию. Другие страны, в частности Германия и Индия, также купили права на римейк (см.: *"Ugly Betty"* Grows into Swan Around Globe: Telenovela Takes off in Many Territories // <http://www.variety.com/story.asp?l=story&a=VR1117937365&c=14>).

Возможно, все эти подробности не слишком интересны российскому телезрителю, которого гораздо больше привлекает «блеск» и «блеск» реалистичная атмосфера фешенебельного московского офиса, – именно о такой работе мечтают тысячи и тысячи 20-летних женщин, только начинающих карьеру. Многие могут проникнуться симпатией к главной героине – образованной и внешне не очень привлекательной девушке, выросшей в консервативной и довольно типичной российской семье, где отец, бывший офицер, с трудом приспособливается к окружающей его новой постсоветской жизни (см.: Кино на телевидении // www.echo.msk.ru/programs/box/44425/index.shtml).

иут связь с традицией советских мини-сериалов 1970-х годов. До сих пор эти два подхода существовали отдельно друг от друга и каждый имел своих сторонников и своих критиков среди медийной элиты. Коммерческие сериалы наподобие тех, что идут по каналу

“Сериалы выполняют и идеологическую функцию, помогая иначе воспринимать историю, изменяя память о прошлом, укрепляя чувство национальной идентичности”.

СТС, до последнего времени счастливо избегали идеологического подтекста. Однако в предверии очередного выборного цикла (2007–2008) проблема не только национальной идентичности, но и национальной идеологии становится для Кремля все более актуальной. В этой связи вполне вероятно, что президентская администрация, которая всегда внимательно следила за рейтингами телевизионных программ, захочет воспользоваться огромным потенциалом государственных и коммерческих телеканалов, связанным с телесериалами, в том числе и не претендующими на интеллектуальность российскими мыльными операми. Поскольку они находятся в центре общественного внимания и оказывают большое воздействие на публику, рано или поздно Кремль должен попытаться использовать их в собственных политических интересах.

В этом отношении весьма любопытен и, возможно, показателен с точки зрения дальнейшего развития событий тот факт, что исполнительница главной роли в чрезвычайно популярном ситкоме «Моя прекрасная няня» актрису Анастасию Заворотнюк пригласили в качестве ведущей на концерт,

посвященный празднованию Дня России и состоявшийся на Красной площади 12 июня 2006 года. Партнером Заворотнюк оказался бывший министр культуры Михаил Швыдкой (ныне возглавляющий Федеральное агентство по культуре и кинематографии).

“Сериалы выполняют и идеологическую функцию, помогая иначе воспринимать историю, изменяя память о прошлом, укрепляя чувство национальной идентичности”.

Концерт транслировался по государственному каналу «Россия»²⁹.

Заместитель главы президентской администрации Владислав Сурков, который принимает непосредственное участие в кремлевских идеологических искааниях, заявил на встрече с журналистами в июне 2006-го, что «нация не может существовать без идеологии». Он также добавил, что «строительство вертикали власти было необходимо и сегодня необходимо, но бюрократическое строение недолговечно, если мы не обогатим его идеологией, признаваемой целой нацией»³⁰. Телевидение в России, как говорилось выше, привычно рассматривается как средство, которое власть использует для общения с народом, и с этой точки зрения слова Суркова – недвусмысленный призыв к телевизионной элите. Российское телевидение явно готово стать основным инструментом распространения новой идеологии. Можно ожидать, что до начала предвыборной кампании пройдет обкатка новых идей с использованием различных телевизионных форматов. Если мы будем внимательно следить за происходящим, быть может, нам удастся разгадать смысл телевизионной мозаики. ■

ПРИМЕЧАНИЯ ¹ В частных беседах автор не раз слышала, как российские «политтехнологи» говорили о телевидении как об «оружии» и даже называли его «ядерным оружием президента Путина».

² Mickiewicz E. The Election News Story on Russian television: A World Apart from Viewers // Slavic Rev. 2006. Vol. 65. No. 1. Spring.

³ Левада Ю. Человек лукавый: Двоемыслие по-российски // От мнений к пониманию:

Социологические очерки 1993–2000. М.: Московская школа политических исследований, 2000.

⁴ Левада Ю. Указ. соч. С. 510.

⁵ Там же. С. 511.

⁶ Дондурей Д. Цензура реальности // Искусство кино. 2004. № 4. Апр. (<http://www.kinoart.ru/magazine/04-2004/now/dond0404>).

⁷ Роднянский А. Постановщики телевизионной реальности // Всероссийская конференция «Логика успеха-3». М., дек. 2003 г. (www.internews.ru/html/sites/main_site/logika/13_rodniansky.pdf).

⁸ Rantanen T. The Global and the National: Media and Communications in Post-Communist Russia. Rowman & Littlefield Publishers, 2002. P. 132–133.

⁹ Ibid. О «воображаемом сообществе» см. также: Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. L.: Verso, 1983.

¹⁰ Путин В. Послание Федеральному собранию Российской Федерации, 2005 г. (http://www.kremlin.ru/eng/speeches/2005/04/25/2031_type70029type82912_87086.shtml).

¹¹ Billig M. Banal Nationalism. L.: Sage Publications, 1995. Цит. по: Rantanen T. Op. cit. P. 8.

¹² <http://www.strana.ru/stories/04/01/06/3461/244716.html>

¹³ Boym S. Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia. Harvard Univ. Press, 1995. P. 287. Цит. по: Rantanen T. Op. cit. P. 8.

¹⁴ Эта тема обсуждается также, например, в передаче на Радио «Свобода» с участием Дубина (<http://www.svobodanews.ru/Transcript/2006/02/06/20060206190604487.html>); см. также статью: Дубин Б. Посторонние: власть, масса и массмедиа в сегодняшней России // Отечественные записки. 2005. № 6.

¹⁵ Boym S. Op. cit. P. 4.

¹⁶ Здесь уместно привести цитату из книги Алексея Чадаева «Его идеология», в которой автор, член Общественной палаты, крайне лояльный к Кремлю, предпринял попытку изложить свое представление об идеологии президента Путина: «Победа в Великой Отечественной войне – единственное основание российского национального мифа. Поэтому атака на представление о войне, попытка ревизии ее итогов есть

атака на существование России как целого, автономного и внутренне единого суверенного пространства». Цит. по: Чадаев А. Его идеология. М.: Европа, 2006. С. 44.

¹⁷ Общественное мнение-2005: Ежегодник.

М., Левада-центр, 2005.

¹⁸ Prokhorova E. Fragmented Mythologies: Soviet TV Mini-Series of the 1970 // PhD dissertation, unpublished. 2003. P. 28.

¹⁹ Boym S. Op. cit. P. 5.

²⁰ Ibid.

²¹ Television in the Russian Federation: Organizational Structure, Programme Production and Audience (http://www.obs.coe.int/online-publication/reports/tv_russia_internews2006.pdf.en). Выпуск подготовлен Internews Russia для Европейской аудиовизуальной обсерватории (European Audiovisual Observatory) на основе данных на декабрь 2005 г. (март 2006 г.).

²² Личное наблюдение автора, основанное на регулярном отслеживании деятельности региональных телекомпаний и региональных журналистов, которое проводится с 1997 года.

²³ Television in the Russian Federation: Organizational Structure, Programme Production and Audience.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Акопов А. Сериал как национальная идея // Искусство кино. 2000. № 2. Февр.

²⁷ <http://www.amedia.ru/nrk/article/396.html>

²⁸ Термин «видеокнига» ввела в контекст российского ТВ телевизионный эксперт Анна Качкаева, которая является также и телевизионным аналитиком русской службы Радио «Свободная Европа» / Радио «Свобода». Она регулярно использовала этот термин в своих прошлогодних радиопередачах.

²⁹ Видеозапись этого концерта можно посмотреть в режиме *on-line* на сайтах: http://video.nasty.anarod.ru/video/Koncert_DR_12_06_2006_Nasta/Den_Rossii.htm и <http://www.zavorot-nuyk.com/video/concert/12june.html>.

³⁰ <http://www.newsru.com/russia/28jun2006/surkov.html>

Переживая чужую катастрофу

Телевизионный сериал «Гибель империи» представляет собой интересный пример имперского подсознания | **НЭНСИ КОНДИ**

Десятисерийный телевизионный фильм «Гибель империи» (2005) режиссера Владимира Хотиненко, снятый по заказу Первого канала государственного телевидения, вышел на экраны накануне празднования 60-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Однако этот сериал посвящен другой войне: события фильма относятся ко времени Первой мировой, действие начинается в 1914 году, незадолго до убийства в Сараево, и заканчивается подписанием Брест-Литовского мирного договора в 1918-м. Натурные съемки проходили в самых разных местах: от Праги до Москвы, от Киева до Вильнюса, от Карловых Вар до Санкт-Петербурга (плюс студийные съемки «в Японии»), — и в картине действуют 479 персонажей, так что размах у сериала поистине имперский. Под стать имперскому колориту и звездный актерский состав исполнителей главных ролей (Александр Балуев, Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш и др.). В январе 2006 года этот фильм был удостоен премии «Золотой орел» как лучший телевизионный мини-сериал (в том же году Первый канал получил за свою продукцию еще восемь «Орлов» в других номинациях)¹.

Основная тема сериала — становление и первые годы российской контрразведки — разворачивается на фоне Первой мировой войны. С самого начала можно заметить, что контрразведка трактуется в сери-

але вполне определенным образом. В отличие от обычной старой разведки, контрразведка — это по-своему необходимый и миролюбивый способ защиты имперских границ. Цель ее не столько в том, чтобы шпионить в пользу России, а скорее в том, чтобы собирать информацию о тех, *кто шпионит против России*. Развивая дальше эту логику и тем самым являя чрезвычайно интересный пример имперского подсознания, «Гибель империи» создает образ такой России, которая способна удачно сочетать в себе две, казалось бы, не связанные между собой характеристики: она а) занимает огромную территорию и б) в то же время оказывается миролюбивым пространством, оставляя в стороне какие бы то ни было вопросы о том, каким образом империи удалось достичь столь больших размеров.

О главном герое сериала, Сергее Костице (Александр Балуев), можно с уверенностью сказать, что этот персонаж предстает перед нами целиком и полностью как плод имперского воображения. Так же, как он периодически грезит об империи, она непрерывно грезит о нем, отправляя его на задания то в Вильно (четвертая серия), то в Сент-Мориц (пятая серия), то в Киев (девятая серия). Повсюду за границей, вступая в контакт с

ЭТОТ МАТЕРИАЛ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН В КАЧЕСТВЕ ДОКЛАДА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СМИ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ» (УНИВЕРСИТЕТ СURREY, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 6–8 АПРЕЛЯ 2006 Г.).

иностранными, Костин демонстрирует невероятный уровень знания культурных особенностей соответствующих стран – от Японии до Швейцарии (иными словами, от одного столкновения с врагом к другому, от одной серии военных провокаций к другой – и так по всему евразийскому пространству). Будучи порождением этого пространства, Костин в то же время символизирует его историческую траекторию: позади у него – и биографическая, и с точки зрения статуса государства – угроза отечеству со стороны Японии; непосредственно рядом с ним – германская угроза родной земле; а в будущем его подстерегает неупомянутый (и запрещенный к упоминанию) натиск глобализации. Именно

теле. Подобно Путину, главный герой выходит в лидеры из рядов службы госбезопасности, где главными достоинствами считаются дисциплина, преданность и отсутствие любопытства в соответствии с принципом «знать только то, что положено». Среди коллег его выделяет мастерское владение одним из видов восточного ритуального единоборства (правда, это не путинское дзюдо, а кэндо – разновидность японского самурайского искусства) и великолепное знание вражеских языков. Оказавшись по ту сторону восточной границы империи, Костин говорит по-японски, а по ту сторону западной – по-немецки. Если бы границы империи неожиданно расширились (а с империями такое часто случалось по определению), Костин с точки зрения языка смог бы ощущать себя как дома на новом, дальнем краю империи. Как и в случае с Путиным, единственный недостаток Костина (на который обращает внимание его коллега в самом начале фильма) – это имперские замашки.

“Как зрители, мы призваны сохранить преемственность в рамках ритуалов и представлений, вне которых непрерывность сама по себе практически не существует”.

поэтому выражение лица у Костина такое же суровое и неизменное, какой стремится быть сама империя.

Подобно целому ряду других главных героев в истории русской и советской культуры, таким, например, как Алексей Мересьев («Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, 1947) и Алексей Воропаев («Счастье» Петра Павленко, 1947), Костин – инвалид². Однако изувеченная рука не умаляет его мужской привлекательности; более того, его физическое несовершенство как бы обратно пропорционально его мужественности. В то же время здесь может таиться еще один смысл: Костин не просто лишился руки в годы упомянутой выше Русско-японской войны, как показано в одном из эпизодов его воспоминаний, – возможно, это лирическая вариация на тему сухорукости Сталина.

Между тем образ Костина, выполняющий основную композиционную роль, наводит на мысль и о другом политическом дея-

тельстве. Подобно Путину, главный герой выходит в лидеры из рядов службы госбезопасности, где главными достоинствами считаются дисциплина, преданность и отсутствие любопытства в соответствии с принципом «знать только то, что положено». Среди коллег его выделяет мастерское владение одним из видов восточного ритуального единоборства (правда, это не путинское дзюдо, а кэндо – разновидность японского самурайского искусства) и великолепное знание вражеских языков. Оказавшись по ту сторону восточной границы империи, Костин говорит по-японски, а по ту сторону западной – по-немецки. Если бы границы империи неожиданно расширились (а с империями такое часто случалось по определению), Костин с точки зрения языка смог бы ощущать себя как дома на новом, дальнем краю империи. Как и в случае с Путиным, единственный недостаток Костина (на который обращает внимание его коллега в самом начале фильма) – это имперские замашки.

Десятисерийное повествование, где каждая из частей представляет собой завершенную историю, является одновременно и детективом, и исторической эпопеей. Серии объединены четырьмя сквозными персонажами-сыщиками. Помимо Костина, в фильме действуют два его помощника по контрразведке – Иван Карлович Штольц (Марат Башаров) и Николай Алексеевич Стрельников (Андрей Краско). Четвертый главный герой, оттеняющий фигуру Костина и не уступающий ему по интеллекту, – университетский профессор Александр Михайлович Нестеровский (Сергей Маковецкий).

Совместные усилия этой четверки (которые в результате ни к чему не приводят, хотя и растянуты на мучительные 10 часов) направлены на то, чтобы предотвратить гибель империи. Наша же общая задача заключается в том, чтобы, вместе с ними и их глазами наблюдая, как все рушится, способствовать преемственности империй. Как зрители, мы призваны сохранить преемственность в рамках ритуалов и представлений, вне которых непрерывность сама по себе практически не существует.

С этой целью нам представлен переходный период от Империи-1 к Империи-2, от империи династической к империи социалистической, с поучительными примерами благородства и честности, преданности и достоинства, трудовой дисциплины и жесткого деления на «своих» и «чужих». И мы, свидетели перехода от Империи-2 к Империи-3, занимаем в истории идеальное положение для того, чтобы осознать преемственность, профинансированную (что неудивительно) Первым каналом государственного телевидения³.

Вот почему обстановка в фильме очень похожа на те условия, в каких оказался зритель столетие спустя: самое начало нового века, время разгорающейся войны и эскалации конфликта, когда вновь начинают стираться грани между военными и секретными службами, между разведкой и интеллигенцией. Действительно, линия, идущая от разведки (*intelligence*) к интеллигенции (*intelligentsia*), замыкается: профессор Александр Несторовский, ученый-правовед из Санкт-Петербургского университета, в прошлом работал в сыске, затем стал преподавателем и позднее присоединился к контрразведке в силу острой военной необходимости, когда границы родины вновь оказались под угрозой. Это как раз тот тип интеллектуала (как и Хотиненко именно тот тип кинорежиссера), который необходим государственному теле-

видению: преданность государству, демократизм без либерализма и, если говорить непосредственно о самом фильме, главенство массовой культуры над популярной культурой⁴. Как уверяет нас один критик, «авторы проекта не собираются напрягать зрителя запутанным повествованием о сложных для страны годах»⁵. Фильм «Гибель империи» принадлежит – больше идеологически, нежели исторически – к тому же разряду слабо связанных между собой картин, что и фандоринская серия: «Азазель» Александра Адабашьяна (2002 год; действие происходит в Москве в 1876-м), «Турецкий гамбит» Джаника Файзиева (2005 год; действие происходит в 1877-м) и «Статский советник» Филиппа Янковского (2005 год; действие происходит в Москве в 1891-м)⁶.

Я не буду подробно описывать ту Россию, которую в совокупности представляют все вышеперечисленные фильмы; скажу только, что они прославляют *этатизм*, восхваляя преимущества, которые дает участие (на столь высоком уровне, на каком позволяют личные контакты) в работе государственной машины. Действительно, в интервью и пресс-релизах Хотиненко не скрывает своей приверженности сильной государственной власти: «Государственного механизма регулирования таких ситуаций (имеется в виду существующий политический климат. – **Н.К.**) просто нет. Практически все держится на воле президента, *слава Богу* (курсив мой. – **Н.К.**)»⁷. Именно в этом контексте стоило бы отдельно исследовать независимую культуру (то есть культуру, не производимую государственным телевидением) как внутри повествования самого сериала, так и в рамках нынешнего мировоззрения Первого канала.

Пленка и труп

Сериал начинается с сюжета о кино. Пленка и труп. И то и другое скверно. В этом постсо-

ветском телесериале кинематограф, восприятие которого меняется под воздействием повествования об эпохе становления контрразведки, вновь частично обретает черты «политической необходимости», характерной для советского времени. Первая серия интригует нас предположением, что кино – это средство, при помощи которого секретная информация о военных сооружениях передается за границу. Предатели из числа связанных с кинематографом людей (среди них служащий монтажной «Кинофабрики Ренессанс» Зеневич) тайно переправляют за рубеж сделанные с воздуха фотографии пограничных укреплений Российской империи вблизи города Карса, на границе с Турцией. Кинематограф начинает восприниматься как одна из возможных форм шпионажа. Как зрители-граждане, мы обескуражены тем, что и с литературой ситуация не лучше. Здесь, в «Гибели империи», неофициальная литература, которой удается избежать цензуры, – это уже не воспеваемый самиздат эпохи диссидентства, а скорее нечто подозрительное и разрушительное. Мрачная и

дарства. Единственное разумное решение в данном случае – это подвергнуть скрупулезной проверке художественные коды и обеспечить поддержку со стороны государства лояльному меньшинству.

Сериал Хотиненко изобилует персонажами, которые переправляют через границу закодированную информацию (рисунки, шифры, карты, инструкции, письма), прибегая к бесконечному множеству злодейских ухищрений: в каблуках ботинок; с помощью почтовых голубей; под фальшивой шерстью, прикрепленной к туловищу собаки; с помощью татуировок, сделанных невидимыми чернилами на теле шпиона; под видом аттракциона в луна-парке; наконец, вытравливая шифры под скорлупой сваренных вкрутую яиц. Эта подрывная деятельность принимает все более фантастические формы, каждая следующая шпионская уловка хитрее предыдущей, тогда как соответствующая деятельность государства, в том числе и самого Костина, отличается лаконичностью, военной четкостью и лишена эмоций, отсутствие в ней театральности является следствием ее

“В этом телесериале кинематограф вновь частично обретает черты «политической необходимости», характерной для советского времени”.

псевдопророческая «Новая Илиада» некого «Ивана Кассандрова» – не просто ложная мистика, а откровенное пораженчество, пособничество врагу во время войны, а это уже относится непосредственно к компетенции бдительной контрразведки Костина. Помимо кино и литературы, даже театральная постановка «Балаганчика» Блока фактически становится прикрытием для шпионской встречи. В конечном итоге искусство, как таковое, – дело ненадежное: стоит оставить его без должного присмотра, как оно с легкостью отдает себя в руки врагов госу-

монотонности, когда все происходит, словно по инерции.

В седьмой серии все же появляется лирический мотив: древний, 130-летний карп, который связывает героев начала XX века с концом XVIII столетия – эпохой Екатерины II, а зритель-свидетель, следящий за событиями фильма на телеэкране в начале XXI века, завершает эту временную траекторию. Кольцо на плавнике карпа привносит сказочный элемент, позволяя нам заглянуть в органичный и приспособившийся к новым условиям мир круговой поруки и преемствен-

ности культуры, объединяющей имперское зрелище екатерининских времен и современный телесериал.

«Любовный треугольник»: империя между войной и революцией

В аннотации к сериалу на сайте Первого канала можно найти весьма примечательную фразу: «В основе фильма – история появления и становления российской контрразведки... когда империю сотрясали Первая мировая война, а затем Великая Октябрьская социалистическая революция»⁸. Заметим, что в этом предложении слово «империя» употреблено не как субъект, а как объект: империю сотрясали война и революция. Хотиненко сводит счеты и с войной, и с революцией, но с каждой по-разному.

Первую мировую войну во многих отношениях можно было причислить к забытым в России войнам⁹. И в народной памяти, и в государственном дискурсе она по большей части замещалась Великой Октябрьской революцией. В советской исторической памяти Первая мировая война преимущественно трактовалась как конфликт, служивший экономическим интересам капитализма и империалистической элиты, конец которому был положен лишь благодаря искусной политике нового большевистского руководства, действовавшего во имя международной классовой солидарности. В отличие от советской версии, «Гибель империи» предлагает две другие, находящиеся в противоречии друг с другом. В самом центре империи эта война считается «нормализованной», и традиции сохранения памяти о ней всё больше приближаются к модели западного патриотизма. Столица империи даже в военное время выступает в роли архитектурного фасада, чем и должны быть, по сути, истинные европейские столицы; капитализм процветает, как это обычно происходит в западном кино; модернизация идет по

западному образцу; война изображается как защита семьи и отечества¹⁰. На периферии, напротив, война пронизана образами-штампами поздней советской эпохи и совершенно иной, социалистической, современности: бдительность на границах, беззаветная преданность делу государства, подозрительное отношение к иностранцам и т. д., что более соответствует дискурсу Второй мировой войны, где на первом плане – сила советского патриотизма, милитаризм и национальная гордость, а не международная классовая солидарность. Таким странным, непоследовательным образом сериал пытается заново встроить Первую мировую войну в западноевропейскую традицию сохранения памяти и одновременно в ethos другой войны более поздней, советской, эпохи.

Что касается трактовки Октябрьской революции, достаточно процитировать мнение одного из зрителей: «Получается, просто поменяли знаки с минуса на плюс и наоборот. Если бы все было в реальности так просто: большевик – значит, сволочь распоследняя. Небольшевик – идеальный герой с интеллигентным лицом Сергея Маковецкого. Русский народ раскололся в 17-м совсем не по этому признаку – плохие против хороших. Все было куда страшнее. Зачем упрощать?»¹¹. Однако не все плюсы заменены на минусы. В частности, сериал избегает прямых нападок на Ленина. Действительно, в яркой эпизодической роли Надежды Крупской показана куда большая культурная утонченность, чем у самого Костина (когда она резко одергивает главного героя, который собирается закурить в ее квартире во время обыска). Но Ленин на экране не появляется, и в его отсутствие ничто не мешает представить большевиков беспорядочно жестокой, безнравственной и легко возбудимой толпой, которая так угрожающе далека от своего партийного руководства.

Само название «Гибель империи» заставляет вспомнить о произведении, малознакомом элите XXI столетия. Работа Освальда Шпенглера «*Der Untergang des Abendlandes*» (1918–1922), которая была переведена на русский под заглавием «Закат Европы» (1923) к вящей радости жителей российской столицы, концептуально перекликается с «Гибелю империи»¹². Название сериала можно было бы расценить как ностальгический, более того, даже иронический диалог с произведением начала XX века: ведь на самом деле ни Европа, ни Российской империя не погибли. В случае с Россией ее политические структуры действительно были разрушены, но культурное наследие и традиции адаптировались и трансформировались таким образом, что даже появились телесериалы, утверждающие, что гибель, распад и закат – это циклический, а не линейный процесс¹³.

«Закат Европы» Шпенглера зажил своей собственной жизнью в русской литературе: в романе Константина Вагинова «Козлинская песнь» (1925–1927), «романе с ключом», отчасти автобиографическом, главный герой Тептелкин находится под влиянием Шпенглера и через его философию истории приходит к осознанию того, что события Октября напоминают падение языческого Рима. В произведении Вагинова можно более четко проследить, как осмыслиается российская история: подобно тому как на смену падшему Риму приходят варварские новые христиане, на развалинах Российской империи воцаряются варвары-большевики, и точно таким же образом на месте погибшей советской империи возникает новая, постсоветская Россия¹⁴.

Облик государства

Сериал «Гибель империи» любопытен как артефакт для тех из нас, кто занимается вопросами империи, теории государства и

проблемами так называемой национальной идентичности, поскольку он дает возможность исследовать парадигматический сдвиг в паре «личность – государство» и совершенно иное, новое понятие коллективной субъектности. Для тех, кто помнит холодную войну, когда теоретики тоталитаризма, а также многие наши советские друзья и коллеги действовали в рамках концептуальной системы, в которой Советский Союз представлялся как атомизированное общество, страдающее от тирании монополистического государства, где лишь небольшое число героических, но непрерывно подвергавшихся опасности граждан сумели сохранить себя как личность, что позволяло им называть вещи своими именами, по крайней мере, на кухне, в кругу ближайших родственников и друзей. Символом той эпохи был Солженицын.

Однако к 1970-м годам ряд ученых (Шейла Фишпатрик и др.) поставили под вопрос тоталитарную модель и предложили совершенно иную парадигму, в центре которой оказывалась не сопротивлявшаяся личность, а общественные явления, такие, как социальная мобильность, статусные различия и соответствующие привилегии, материальные интересы. Каким образом подобное изменение повлияло на наше понимание взаимоотношений «личность – государство»? С одной стороны, субъективность «индивида» под влиянием Мишеля Фуко и Луи Альтюссера перестала трактоваться как устойчивое и цельное «я». Отказавшись от исходной посылки, что человек – это уникальная и индивидуальная личность, Йохан Хельльбек, Стивен Коткин и др. вводят понятие «сформированного я» – личности, которая учится «говорить по-большевистски» и тем самым конституируется как субъект в рамках советского режима советским же режимом истины¹⁵. Тогда термин *Homo soveticus* (если вслед за Александром Зиновьевым употреблять его

в негативном смысле) полностью утрачивает всю свою нормативную ценность и становится исключительно описательной (дескриптивной) категорией в отношении личности, которая не способна противопоставить окружению свою альтернативную частную сферу и поэтому не может претендовать на личную, субъективную истину как на «чистую область, свободную от всякой власти» (по выражению Хельльбека)¹⁶.

Однако в данном случае куда более существенно то, что происходит с другим объектом вышеупомянутой пары, то есть не с отдельной личностью, а с государством. Советское государство, никак не соответствовавшее модели, предложенной в рабо-

тупность взаимодействовавших между собой сетей, взаимных услуг, взаимовыгодных союзов и т. п. (что позволяет поднять интересные вопросы о репрезентативных стратегиях текстов, созданных по государственному заказу, таких, как «Гибель империи» Хотиненко). В этом смысле сериал, о котором мы говорим, представляет собой чрезвычайно ярко выраженный текст, составляющий часть истории Первого канала. Вне зависимости от того, существовал ли когда-нибудь Костин или нет, Первому каналу в любом случае необходимо найти физическое воплощение некой коллективной личности, наиболее адекватно отражающей свойства той системы, частью которой является сам

“Сериал пытается заново встроить Первую мировую войну в западноевропейскую традицию сохранения памяти и одновременно в этос советской эпохи”.

те Макса Вебера «Политика как призвание и профессия» (1918), в соответствии с которой государство управляет человеческими делами объективно, упорядоченным образом и на основе определенных правил, давало мало оснований предполагать, что оно может эволюционировать в направлении беспристрастного, то есть предельно обезличенного, бюрократического, механизма, а, напротив, выказывало признаки того, что можно охарактеризовать как патримониализм, неотрадиционалистский обмен и персоналистские, неформальные практики. Такие ученые, как Джерри Хаф, Томас Ригби и Джон Уиллертон, а позднее Джейфри Хоскинг, Терри Мартин и Джоэл Мозес¹⁷, по-разному подвергали сомнению идею неизбежного обезличивания современного государства, утверждая, что в противоположность этому Советское государство, каким бы ни был его дискурс о беспристрастности, на самом деле функционировало как сово-

телеканал: беззаветную преданность, бдительность, групповую лояльность и т. д. под безликой, ничего не выражаящей маской современного государства-сфинкса — все это вполне узнаваемо среди прочего в образе Костины.

Нашим коллегам-историкам и политологам будет нелегко ответить в том числе как раз на те вопросы, с которыми можно попробовать разобраться в рамках культурологического анализа, где объекты художественного мира все же несут на себе печать эпохи: обладает ли государство, по крайней мере в своих культурных текстах, индивидуальностью, четко выраженной через его сети и союзы? Если да, то как мы можем узнать об этом? Как мы можем узнать, что мы ошиблись? На последний вопрос, даже если считать, что он правильно сформулирован, нет достоверного ответа.

«Гибель империи» дает нам в какой-то мере ограниченное и условное представ-

ление о том, что можно было бы назвать «личностью государства», которая воплощена в «расплывчатом» образе Костина (не совсем Ленина, не совсем Сталина, не совсем Путина) и которая также проявляется непосредственно в экономических и профессиональных условиях создания фильма. В этих 10 сериях нашли отражение определенные обретающие силу союзы и идеологические ограничения. Среди них и уже упомянутое изменение отношения (в соответствии с новыми государственными критериями) к Первой мировой войне и наследию Октября, а именно «нормализация» Войны и понижение статуса Революции. Конечно, конкретные обстоятельства каждый раз заново обговариваются администрацией государственного телевидения с создателем фильма, который и хочет, и может

выступить в качестве своего рода брокера, представляющего интересы государства. Из этого следует, что рассмотренный нами пример – не единственно возможный облик государства, а Хотиненко – не единственный посредник. В силу таланта режиссера, сделанный им, если можно так выражаться, «моментальный снимок» государства позволяет нам решиться хотя бы предварительно описать то, что иначе останется за рамками строго эмпирических исследований и, более того, не подлежит проверке, но тем не менее симптоматично присутствует в ткани художественного произведения. Думается, было бы интересно проанализировать собрание сочинений коллективного автора по имени «Первый канал», в котором сериал «Гибель империи» лишь один из многочисленных томов. ■

ПРИМЕЧАНИЯ ¹ Подробнее о вручении премии см.: <http://www.1tv.ru>. 29.01.2006.

² Интересное исследование темы физически неполноценного героя, в частности Павки Корчагина («Как закалялась сталь» Николая Островского, 1932–1934) и Альберта Лихтенберга («Мусорный ветер» Андрея Платонова, 1934), см. в: *Kaganovsky L. Bodily Remains: The Positive Hero in Stalinist Fiction // Dissertation. Univ. of California, Berkeley, 2000; Idem. How the Soviet Man was (Un)Made: Nikolai Ostrovsky's "How Steel Was Tempered" // Slavic Rev. 2004. Vol. 63. No. 3. Fall. P. 577–597.* Я бы сказала, что начало этой теме в советской культуре положил, безусловно, поздний Ленин. Хотя в российской культуре и до того было немало героев-каек, ранение и последующие инсульты Ленина наиболее убедительно связали воедино физическую немощь с политической легитимностью и культурным превосходством.

³ Первый канал (располагающий самым большим бюджетом и наибольшей зоной вещания на территории РФ) стал наследником Общественного российского телевидения (ОРТ). Три самых кассовых фильма российского проката созданы при поддержке Первого канала: научно-фантастические триллеры Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор»

(2004) и «Дневной дозор» (2006) – оба по романам Сергея Лукьяненко, а также «Турецкий гамбит» Джаника Файзиева (2005) по роману Бориса Акунина. См.: <http://www.1tv.ru>.

⁴ Массовая культура здесь понимается как направленная сверху вниз система, имеющая конечной целью производство массовой культурной продукции. Популярная культура трактуется как система, предполагающая совместное участие и большую взаимозависимость производителей и потребителей в процессе смыслообразования, которое происходит на других этапах жизненного цикла продукции (распространение, регулирование, демонстрация, рецензия, приобретение, потребление и т. д.). Более подробное описание этого различия см., напр., в: *Hall S. Notes on Deconstructing the Popular // Cultural Theory and Popular Culture: A Reader. John Storey (ed.). Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1994; Hebdige D. Subculture: The Meaning of Style. N.Y.: Routledge, 1979; Fiske J. Reading the Popular. London: Unwin Hyman, 1989; Idem. Understanding Popular Culture. London: Unwin Hyman, 1989; Chambers I. Popular Culture: The Metropolitan Experience. London: Methuen, 1986; Willis P. E. Common Culture. Philadelphia: Open Univ. Press, 1990.* Хотя эти

исследования отражают современные реалии развитых стран, описанное различие между массовой и популярной культурой все же весьма полезно.

⁵ Степхова О. Хотиненко подготовил «Гибель империи» // Московский комсомолец. 2005. 31 марта (<http://www.mk.ru//numbers/1568/article50965.htm>).

⁶ Как видно, действие кинокартин этой серии охватывает период с 1876 по 1918 год, а снимались фильмы с 2002 по 2005 год. Можно было бы многое сказать о теме рубежа столетий, но это – предмет отдельного исследования.

⁷ Пятунина Е. Огонек и лай собаки // Российская газета. 2005. 15 сент.

⁸ См.: <http://www.1tv.ru>

⁹ См.: Cohen A. J. Oh That!: Myth, Memory, and the First World War in the Russian Emigration and the Soviet Union // Slavic Rev. 2003. Vol. 62. No. 1. Spring. P. 69–86; Youngblood D. A War Forgotten: The Great War in Russian and Soviet Cinema // The First World War and Popular Cinema / M. Paris (ed.). New Brunswick, N.J.: Rutgers Univ. Press, 2000.

P. 172–191.

¹⁰ О западноевропейском дискурсе памяти о Первой мировой войне см.: Fussell P. The Great War in Modern Memory. Oxford: Oxford Univ. Press, 2000; Winter J. Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995.

¹¹ <http://www.kinoekspert.ru>

¹² Spengler O. Der Untergang des Abendlandes: Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. 2 vols. Vienna (Vol. 1): Verlag Braumüller, 1918 and München (Vol. 2): Verlag C. H. Beck, 1922.

¹³ Само заглавие книги Шпенглера – ироническая отсылка к шеститомному сочинению Отто Зеека «История гибели античного мира» («Geschichte des Untergangs der antiken Welt», 1895–

1921). См.: Seec O. Geschichte des Untergangs der antiken Welt. 6 vols. Darmstadt: Primus-Verlag, 2000. Стереотипное издание 1895–1921 годов.

¹⁴ См.: Вагинов К. Козлиная песнь. Труды и дни Свистанова. М.: XXI век – Согласие, 2000; Anemone A. Obsessive Collectors: Fetishizing Culture in the Novels of Konstantin Vaginov // Russian Rev. 2000. Vol. 59. No. 4. October. P. 252–268. Я принатальна на Саше Смит за это наблюдение о существующей связи между «Гибелю империи», «Закатом Европы» и романом Вагинова.

¹⁵ Hellbeck J. Fashioning the Stalinist Soul: The Diary of Stepan Podlubnyi, 1931–1939 // Stalinism: New Directions: Rewriting Histories / Sh. Fitzpatrick (ed.). N. Y.: Routledge, 2000. P. 77–116; Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: Univ. of California Press, 1997.

¹⁶ Здесь для большей убедительности я прибегаю к проведенному Йоханом Хелльбеком анализу дневника Степана Подлубного (1931–1939). См.: Hellbeck J. Op. cit.

¹⁷ См.: Hough J. F. Soviet Prefects. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1969; Idem. The Soviet Union and Social Science Theory. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1977; Rigby T. H. The Changing Soviet System: Mono-Organizational Socialism from Its Origins to Gorbachev's Restructuring. Cheltenham: Elgar, 1990; Willerton J. P. Patronage and Politics in the USSR. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1991; Hosking G. Patronage and the Russian State // Slavonic and East European Rev. 2000. Vol. 78. No. 2. P. 301–320; Martin T. Modernization or Neo-traditionalism? Ascribed Nationality and Soviet Primordialism // Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices / D. L. Hoffmann, Y. Kotsonis (eds). N. Y.: St. Martin's, 2000. P. 161–182; Moses J. Dilemmas of Transition in Post-Soviet Countries. Lanham: Rowman and Littlefield, 2003.

Праздничные концерты: старый канон на новом ТВ

В последние годы телевизионные концертные программы стали своеобразной площадкой для артикулирования идей государственного национализма | **ВЕРА ЗВЕРЕВА**

В современной российской культуре телевидение занимает странное положение: оно почти не привлекает внимания отечественных исследователей, несмотря на огромную аудиторию и неизменно высокие рейтинги программ на центральных каналах, а также несмотря на то, что успешная телепродукция (сериалы, герои, «звезды») становится трансмедийной, то есть быстро переводится в другие форматы (массовый роман, рекламные сообщения). При этом о телевидении часто отзываются с пренебрежением: в российском сознании сохраняется установка, согласно которой «ящик» принадлежит низовой культуре, а «умным» (деловым, образованным, интеллигентным и т. п.) людям телевизор ни к чему.

При этом по-прежнему, как и до появления интернета, телевидение обладает большим потенциалом: оно конструирует и наделяет жизнью тиражируемые образы реальности¹. «Только присутствие в... системе [масс-медиа] позволяет передать сообщение и сделать его социально значимым. ...С точки зрения общества, коммуникация на электронной основе и есть коммуникация»². В условиях информационного общества телевидение служит источником социокультурно-

го опыта, знаний, представлений о себе и других, о должном и недолжном, о норме и ее границах. Поэтому, изучая телевидение, необходимо задаться вопросом о том, какую реальность оно создает. В этой связи следует анализировать не только содержание сообщений, но и их форму, способ построения высказывания, дискурс телепрограмм.

Имеет ли значение такое конструирование в условиях, когда телевидение производит поток сообщений³, когда важно не отдельное высказывание, а сам факт «оворения», смешивания, присвоения, коллективного переживания информации? Представляется, что, несмотря на эту особенность, телевизионное производство образов реальности сохраняет свою значимость, хотя исследователю и приходится более внимательно относиться к специфике самого средства коммуникации. Телевизионный поток создает «фон» для социокультурных представлений аудитории, формирует сферу тривиального, используя для этого повторяемые вербальные и аудиовизуальные клише, узнаваемые приемы презентации. Из телевизионных формул — привычных образов, слов, сюжетных ходов, типичных реакций, поз и жестов — возникает особая социальность. Не стоит преувеличивать силу воздей-

ствия телевидения на зрителей (и тем более выстраивать «теорию заговора», согласно которой подборка телепрограмм отвечает некоему тайному умыслу). Однако это средство массовой коммуникации было и остается богатым источником культурных образцов и того, что по умолчанию считается в обществе «само собой разумеющимся». Телевидение обладает нормализующим эффектом, оно постоянно осуществляя перевод транслируемых установок в нечто «естественное». В этой связи важно ответить на вопрос о том, какого рода культурные образцы предлагаются в телепрограммах? Какие высказывания о повседневном претендуют на то, чтобы стать нормой? Кто и каким образом их артикулирует?

Старые и новые праздники на телеэкране

В современном российском телевидении существуют две противоположные тенденции. С одной стороны, сама система организации вещания с централизованными каналами, лимитированными возможностями зрительского выбора, неразвитостью кабельных сетей и цифрового телевидения не соответствует актуальным культурным реалиям. Отсутствие у большинства зрителей доступа к современным средствам телекоммуникации обворачивается дополнительным ограничением в условиях жесткого государственного контроля над СМИ. С другой стороны, на российском телевидении 2000-х годов наблюдаются развитие медийного бизнеса, рост технологического профессионализма, увеличение прибыльности, новые телевизионные программы отечественного производства становятся всё более успешными.

Изучая содержание сетки вещания центральных каналов, можно заметить, что в эфире широко представлены интересы государства и коммерческих структур, в то время как общественные интересы выраже-

ны слабо. Культурный репертуар на телевидении за последние годы заметно сузился (с каналов уходят прямой эфир, политическая, социально-экономическая и культурная аналитика, общественные дебаты, сатира, программы с интерактивным участием зрителей). Значительное место отведено развлечению: инфотейнменту, сериалам, концертам, юмористическим передачам, играм, реалитикам и ток-шоу.

В 2000-е в особый тип востребованных зрителем телепередач превратились праздничные концерты на центральных каналах. Пик их популярности пришелся на 2003–2004 годы, что было связано с выборами депутатов Государственной думы и президента. В настоящее время подобного рода концерты по-прежнему используются как важный канал односторонней коммуникации «власти» с «народом». Этот специфический вид развлекательных программ строится в рамках государственно-националистического дискурса.

На телевидении националистический дискурс (где «нация» выступает в качестве базового концепта, в свете которого интерпретируются другие понятия и ценности) существует в различных передачах: информационных и аналитических авторских (например, «Однако» Михаила Леонтьева, «Постскриптум» Алексея Пушкиова), тематических программах («Русский взгляд»), документальном кино, некоторых специальных репортажах и фильмах. При этом в большинстве случаев элементы националистических взглядов подаются в «респектабельном» виде, в качестве составляющих государственной идеологии. Речь идет о так называемом «государственном национализме», в соответствии с которым официальные либо полуофициальные медийные сообщения, адресованные широкой аудитории, создают позитивный образ России, приемлемый для большинства россиян. Отправным пунктом здесь

служит тот же концепт «нация», однако он понимается как объединение людей на основе не этнокультурной, но государственной идентичности. Интересы нации и государства трактуются как максимально сближенные друг с другом. Теоретически россиянам предлагается ощущать себя частью «сильного», «стабильного» государства, помнить о приоритете его интересов в сфере внешней политики, испытывать чувство «патриотизма» или даже «здорового национализма», гордость не только за «успехи» страны, но и за сам факт принадлежности к ней. В процессе конструирования образа нации в медиа происходит дискурсивный сдвиг, и к «государственной нации» добавляются этнокультурные характеристики, которые полностью меняют смысл этого концепта.

В последние годы телевизионные праздничные концерты стали своеобразной «площадкой» для артикулирования проблематики государственного национализма. В эфире 1990-х праздничные концерты и новогодние «голубые огоньки» заимствовались из опыта советского телевидения. К ним были добавлены шоу поп-исполнителей (например, «Рождественские встречи Аллы Пугачёвой»). Сегодня особыми программами, трансляциями и/или телеконцертами сопровождаются те даты, которые считаются государственными праздниками и отмечаются россиянами⁴. Это Новый год, Пасха, православное Рождество, 9 Мая, 8 Марта, 23 февраля. Периодически в эфир ставятся тематические программы, посвященные 7 ноября (в 2005 году появились телепередачи, в которых зрителям объяснялся смысл празднования 4 ноября – Дня народного единства, годовщины освобождения Москвы от польско-литовских интервентов в 1612 году). На 1 Мая телевидение редко предлагает специальные шоу. То же относится к эфирам 12 декабря и 12 июня: из двух праздников нового российского государства, пришедшего на смену СССР, один –

День Конституции – был отменен, а другой лишен прежнего смысла, связанного с провозглашением государственного суверенитета, и переименован в День России.

В коллективном сознании телезрителей традиционные праздники наполнены определенным содержанием и связаны с устойчивыми образами. Часть из них может быть адаптирована для выражения новейших государственных идеологем, но не все праздники годятся для этой цели. В последнее время на телевидении сложилась форма торжественного концерта, посвященного не только «старым» датам, но и таким профессиональным и корпоративным праздникам, которые не отмечаются в массовом порядке.

Выбор «информационных поводов» показателен. Это День Победы (важнейшая дата для самоидентификации россиян), День защитника Отечества, праздники силовых структур (дни МВД, ФСБ, пограничных войск и др.), МЧС, налоговой службы, а также некоторых бизнес-компаний (например, юбилей «Газпрома»). Недавно специальным указом президента России Владимир Путин учредил семь профессиональных праздников и 14 памятных дней для военнослужащих. Решение принято «в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства»⁵. Согласно этому указу, будут отмечаться День специалиста юридической службы – 29 марта, День сотрудников военных комиссариатов – 8 апреля, День специалиста по радиоэлектронной борьбе – 15 апреля, День специалиста по ядерному обеспечению – 4 сентября, День танкиста – второе воскресенье сентября, День военного связиста – 20 октября и День военного разведчика – 5 ноября и пр.⁶. Вполне вероятно, что некоторые из новых праздников также получат

телевизионное воплощение. Торжественные концерты подчеркивают значимость силовых и военных структур, в то время как праздники, которые посвящены профессиям, связанным с обычной мирной повседневностью, такими телешоу не сопровождаются.

Дискурс телевизионных праздничных шоу

Внешне новые праздничные концерты во многом воспроизводят стилистику официальных советских мероприятий. На сцене Государственного Кремлевского дворца произносятся торжественные речи, присутствуют высокие чиновники, исполняются песни и танцевальные номера – от парадно-официозных до более неформальных. Телепрограмма складывается из устойчи-

вого набора компонентов: это официальная риторика приветственных слов, произносимых ведущими или дикторами за кадром, церемониальные действия (например, минута молчания) и риторика массовой культуры – популярная музыка и юмор. Характерный пример приведен в подверстке ниже.

Новые и отчасти старые телевизионные праздники предоставляют властям возможность говорить о «нормальном» и «должном». В концертных программах решается задача визуальной презентации мифологии современной России, «правильной» с точки зрения государства. В них выражаются установки, которые используются для самоописания в политическом дискурсе: «мощь страны», «сильный президент» и «вертикаль

Начало праздничного концерта в честь Дня милиции (РТР, 10 ноября 2003 г.)

В кадре сцена Кремлевского дворца: на заднем плане на фоне неба изображены российский флаг и большая эмблема МВД, тут же – цитата: «Мы все вместе должны сделать Россию единой и сильной» с подписью: В. Путин. На авансцене артисты – Надежда Бабкина и фольклорный театр «Русская песня» в народных «славянских» костюмах, дети – группа «Непоседы» и детский военный ансамбль, а также военные – образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД России, ансамбль песни и пляски МВД. «Русский народ», дети и военные символически представляют собой «всех россиян».

Телекамера, обращенная в зал, останавливается на лицах сидящих в первом ряду президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Касьянова, главы МВД и партии «Единая Россия» Бориса Грызлова. (Дополнительный смысл происходящему придавало то, что концерт транслировался накануне выборов в Государственную думу, куда баллотировались представители от этой партии).

На сцене исполняют марш в честь Дня милиции:

«В день осенний мужчины надевают мундиры
Темно-серого цвета, где блестят ордена.
Постовой, участковый, сыщик и командиры,
Этот праздник особый отмечает страна.

Припев:

За то, чтоб был порядок и мы с открытым взглядом
Могли решать насущные дела,
Шагали без оглядок, друг улыбался рядом
И чтоб моя милиция жила!»

Голос за кадром: «Ведущие праздничного концерта лауреаты премии МВД России: народная артистка России Светлана Моргунова и народный артист СССР Игорь Кириллов».

– Добрый вечер, дорогие друзья, гости Государственного Кремлевского дворца и зрители телеканала Россия! – Добрый вечер, дорогие россияне! Сегодня десятое ноября – день, который традиционно отмечает и празднует вся наша большая единая Россия. И мы с уверенностью можем сказать, что вот в эти минуты в больших и малых городах и селах у экранов телевизоров собрались миллионы, миллионы людей разных поколений в ожидании начала праздничного концерта в честь Дня российской милиции. – И сегодня сюда, в Кремлевский дворец, поступают поздравления из разных регионов, и каждый гражданин нашей единой страны может высказать свое мнение о работе милиции и, конечно, поздравить работников внутренних дел с их профессиональным праздником!

власти», подчеркивается значимость силовых структур, подчиненность периферии центру. Авторы телешоу создают визуальное воплощение позитивного образа России как «великой державы», которая сейчас преодолевает трудности во имя «стабильности и процветания» страны с богатыми «традициями» и «духовностью». Вместе с тем такая картина предполагает редукцию культурного многообразия до ограниченного набора значений, форм и стилей.

Картина, создаваемая на телеэкране, обычно отвечает тематике праздника. Напомним, что памятные даты и юбилеи в основном связаны с государственными ведомствами и силовыми структурами. Доминирующая тождественность презентации усиливает идеологические составляющие. Так, например, «военные» изображаются при помощи знаков «войны», понятых буквально, без претензий на метафоричность

Анализ телевизионных праздничных концертов последних трех-четырех лет позволяет говорить о том, что сложился некий набор формул для презентации современной России. Его основная черта — «народность», традиционализм. Общность «своих», конструируемая при помощи слов песен, музыки и визуальных образов, противопоставляет- ся «не своему», «чужому». Эта общность строится на основе знаков «русскости», которая задается как само собой разумеющаяся этничность, вводимая по умолчанию через систему легко считываемых знаков: актеры в народных (крестьянских, казачьих) костюмах, стереотипные способы изображения «русской природы» — березы, обширные поля под голубыми небесами, белые облака и т. д.

В последнее время в телевизионных шоу, в основном в текстах песен, все чаще упоминается исконная народная вера — православие, мотивы эсхатологии и спасения. В качестве

“Праздничные шоу, предлагающие суррогатное объединяющее начало, представляют собой форму общественного эскализма”.

или какую бы то ни было иную образность.

Наконец, содержание таких концертов и форма, в которую оно облекается, должны, насколько это возможно, отвечать запросам зрительской аудитории относительно общих ценностей, знаков и значений, распознаваемых и разделяемых общественным сознанием. Результаты социологических исследований свидетельствуют о разобщенности россиян, о нервозности и апатии, об отчуждении от политической и гражданской жизни, о замыкании в сфере отдельной семьи, о кризисе солидарности и разрушении тех коллективных представлений, которые объединяли бы людей⁷. Праздничные шоу, предлагающие суррогатное объединяющее начало, таким образом, представляют собой форму общественного эскализма.

обязательного компонента присутствует воспевание «Родины-матери», «России-матушки». Патриотизм — доминанта такого шоу — понимается как гордость за свою принадлежность к «нашему» государству. Этот этнокультурный комплекс не подлежит проблематизации и часто предстает как объединяющее россиян начало («Вся страна мне родня — Русь соборная»)⁸. В то же время остается неясным, как именно определяется та общность, которой адресовано послание (*message*) передач: можно предположить, что ее границы намеренно размыты, чтобы включить в нее «всех» зрителей.

Отличительная черта таких постановок — архаизация реалий, описание «себя» сегодняшних через мифологизированное прошлое. На сцене визуально обыгрыва-

ваются идеи «наших истоков», «корней», инсценировки отсылают зрителей к утопической, доиндустриальной, патриархальной культуре. Другая возможность уйти в придуманное и желанное «вчера» — это представить «живые картины» советского прошлого, подкрепленные цитатами, песнями, героями «нашего старого кино» или советской эстрады. Советский «позитив» становится все более востребованным зрителями при конструировании современных образов россиян. Им предлагается вспомнить о счастливой, хотя и трудной жизни в СССР. В передачах 2000-х годов в изобилии представлены коды советской культуры, задача которых не столько пробуждать ностальгию, сколько подчеркивать аутентичность («верность себе»). Советская культура в концертных постановках препрезентирована как нечто однородное и беспроблемное; она рассматривается как ресурс символов, которые могли бы объединить людей на основе общей памяти.

Телезрителям, которые смотрят концерты, предлагается ощущать себя символическими наследниками и Российской империи, и Советского Союза. Синтез знаков призван работать на создание имиджа современной власти как преемницы и СССР, и царской России. Непосредственное прошлое — период перестройки и 1990-е с их идеологическими инновациями и эстетическими поисками в области медиа — подлежит намеренному забвению. Конфликт между дореволюционной Россией и СССР парадоксальным образом исчезает, видимо, в результате осмыслиения страны до и после 1917 года в первую очередь как империи и сильной державы.

Образы современного постиндустриального общества, а также знаки, указывающие на связи России с Европой, Западом и глобальным миром, в шоу, как правило, отсутствуют. Перед телезрителями предстает «остров Россия». В песнях, которые испол-

няются на торжественных концертах, звучит тема одиночества России, ее инаковости по сравнению с «остальными странами», нагнетается тревожность, связанная с присутствием неназванных врагов, «чёрных сил», от которых народ оберегают его лучшие сыны — власть, милиция и армия. В таких телевизионных постановках можно одновременно услышать и ламентации на тему выживания страны/ народа, и прославление мощи государства.

*«Горькая моя Родина,
Ты — и баль моя, и судьба.
Вновь кружит непогодина,
Только мы одни у тебя.*

*Так близка мне твоя даль далёкая,
Ты Россия моя одинокая.
Облака над тобой невесенние,
Но я верю в любовь и спасение.*

*Горькая моя Родина,
Нет, нельзя тебя разлюбить.
Пусть судьба не устроена,
Надо веровать, надо жить.*

*Соловей, голоси — всё мне чудится,
Что Крещенье Руси снова сбудется.
Ещё русская речь не задушена,
Ещё сможем сберечь слово Пушкина!*

*Горькая моя Родина,
Не дадим тебя погубить!
Пусть гудит непогодина,
Будем веровать, будем жить.*

*Не осилит меня сила чёрная,
Вся страна мне родня — Русь соборная.
Так близка мне твоя даль далёкая,
Ты Россия моя синеокая.*

*Горькая моя Родина,
Родина...»⁹.*

Эту песню исполняют артисты в костюмах дореволюционных казаков, в военной форме. Она начинается как народная лирическая, но под конец переходит в марш и заканчивается скандированием слов «Будем веровать! Будем жить!». В постановке используются стереотипные образы: женщины — жены и матери, хранительницы «вечных ценностей», поднимающие мужчин на героические деяния, и мужчины — защитники, хлебопашцы-воины. Лейтмотив концертного номера — утверждение народности, патриотизма и веры, готовность сплотиться против неназванных врагов, выживание «вопреки всему».

Языковая и стилевая эклектика

В вербальных и визуальных конструкциях телевизионных праздничных концертов преобладает эклектика, пастихи; сообщение строится на основе смешения различных культурных кодов. Эклектика в телевизионном языке принципиальна: программа должна адресоваться как можно более широкому кругу зрителей в условиях дефицита тем, сюжетов, символов, языка, которые способствовали бы единению аудитории.

К официальному языку торжественных речей и к стереотипам парадной презентации «народа» присоединяется язык шоу-бизнеса и современной поп-музыки. Официоз и риторика современной массовой культуры в таких программах соседствуют друг с другом, и зритель, судя по всему, не усматривает между ними никакого противоречия. Вместе эти компоненты воспринимаются как связующее звено между высоким, торжественно-мемориальным и обычным, каждодневным. Например, вслед за парадными песнями в исполнении Иосифа Кобзона могут звучать слова песни Валерии «Девочкой своею ты меня назови, а потом обними, а потом обмани» под аккомпанемент ансамбля песни и пляски МВД — музыкантов, одетых в мили-

цийские мундиры. К этому добавляется — неизбежный в случае праздника силовых структур — полублатной шансон, где элементы уголовной лирики (сентиментальность и агрессивность, упоминания о матерях-старушках, иконах, молитвах и насилии) проецируются на самих защитников правопорядка. С помощью этих дискурсивных практик гордость/тревога переплетается с развлечением и «терапией». Суровые вооруженные казаки, советский военный ансамбль, смело одетые исполнительницы (группа «Сливки») с детской песней «Облака, белогривые лошадки», соблазнительно танующие под эмблемой МВД, — все эти разные по духу и культурному языку части шоу маркированы как прекрасное.

Постсоветская «имперскость» составляет важную особенность создаваемого образа современной России: она предстает и осмысливается в первую очередь как земля («родная земля»), территория. Ее целостность обладает безусловной ценностью. В программах поощряется отчасти угаданное и культивируемое желание аудитории видеть Россию «великой державой», и поэтому широко используется риторический прием, который можно было бы назвать «присоединением» бывших союзных республик. Когда речь заходит о территории России, нарратив строится таким образом, как если бы по-прежнему «пятнадцать республик — пятнадцать сестер» тянулись к центру — Москве, а не отдалялись от него. Это напоминает фантомные боли, но иногда выглядит достаточно агрессивно.

Примером может служить песня Олега Газманова «Сделан в СССР». Впервые произвучав на телевидении, она вызвала недоумение в СМИ, однако вскоре стала популярным хитом и исполнялась на торжественных концертах. Во время празднования 60-летнего юбилея Победы эта песня была включена в программу концерта на Поклонной горе, транслировавшегося центральными каналами

ми: припев подхватили почти все пришедшие на концерт зрители.

«Украина и Крым, Беларусь и Молдова –
Это моя страна.
Сахалин и Камчатка, Уральские горы –
Это моя страна.
Красноярский край, Сибирь и Поволжье,
Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже ...

Припев:

Я рожден в Советском Союзе,
Сделан я в СССР!
Я рожден в Советском Союзе,
Сделан я в СССР!

Рюрики, Романовы, Ленин и Сталин –
Это моя страна.
Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин –
Это моя страна.
Разоренные церкви и новые храмы,
Красная площадь и стройка на БАМе...

Припев.

Олимпийское золото, старты, победы –
Это моя страна.
Жуков, Суворов, комбайны, торпеды –
Это моя страна.
Олигархи и нищие, мощь и разруха,
КГБ, МВД и большая наука...

Припев.

Глинка, Толстой, Достоевский, Чайковский,
Врубель, Шаляпин, Шагал, Айвазовский,
Нефть и алмазы, золото, газ,
Флот, ВДВ, BBC и спецназ.
Водка, икра, Эрмитаж и ракеты,
Самые красивые женщины планеты,
Шахматы, опера, лучший балет,
Скажите, где есть то, чего у нас нет?!

Даже Европа объединилась в союз,
Вместе наши предки сражались в бою.

Вместе выиграна Вторая мировая война,
Вместе мы самая большая страна.
Душат границы, без визы нельзя.
Как вам без нас, отзовитесь, друзья?!

Припев»¹⁰.

Общегосударственный эскапизм

Мультикультурность российского государства практически не находит выражения в таких медийных акциях. Язык современной популярной песни интернационален, но он не передает всего многообразия. Чтобы показать этнокультурную множественность, в праздничных программах используется все тот же один прием, который был отработан еще в советское время: вставляется «этнический» номер – народные танцы и песни – в исполнении «младших братьев».

Так, например, в программе торжественного концерта в честь Дня Победы, проходившего на Красной площади в 2005 году (транслировался на РТР), инсценировались советские парады и демонстрации: шествие «колонн трудящихся» сменялось «народными плясками» в исполнении артистов в национальных костюмах народов бывших республик (среди них можно было увидеть украинцев, грузин, представителей народов Центральной Азии).

Похожая стратегия презентации ностальгии и державности была выбрана и при составлении программы концерта в честь Дня пограничника в 2004-м: в ее были включены популярные в советское время исполнители (Анне Бески, «Песняры») и песни того же периода («Тбилисо»), которые представляли бывшие союзные республики и страны «социалистического лагеря» (Болгария, Венгрия).

Отношение России к другим странам (не входившим в «социалистический лагерь») выражено в концертах не так определенно. Выше говорилось об образе «остро-

ва Россия», который подразумевает необходимость сплотиться против «другого»¹¹. Негативные элементы самоидентификации связываются с абстрактным Западом и строятся на противопоставлении себя внешнему и внутреннему врагу.

*«Труден каждый шаг и опасен враг
В долгой и невидимой войне,
Но в смятении вьюг мы сумеем, друг,
С честью послужить своей стране.»*

Припев:

*И снова, и снова из дома родного
Тревожные дали зовут.
Проносится жизнь по дорогам суровым,
А дома любимые ждут»¹².*

Эта песня в исполнении Ильи Резника сопровождается танцевальным номером: юноши в военных ботинках и камуфляже танцуют с девушками в бальном платьях. На заднем плане сцены изображена Кремлевская стена под голубым небом.

Если следовать логике праздничных концертов, то можно заключить, что государству, его территориальной целостности, процветанию и счастью угрожают некие неназванные враги. По-видимому, речь идет о «межнациональному терроризме» и «криминале». Угроза, которая от них исходит, возвышает в глазах зрителей те структуры, чьи профессиональные праздники, как предполагается, должна отмечать вся страна, и вместе с тем обосновывает важный для российской политической культуры мотив мобилизации и вечной войны¹³.

Телевизионное послание подобного рода программ сводится к следующему: долг россиян заключается в том, чтобы быть готовыми переносить тяготы, отказаться от благ, приложить все усилия для преодоления невзгод (каких – не уточняется) и защитить «одинокую» Россию.

Мысли о самопожертвовании, о постоянно возникающих чрезвычайных ситуациях, а также поиск неведомого врага чередуются с идеями о радостной повседневной жизни. Поэтому настроение в телевизионных праздничных концертах балансирует между эйфорией и паранойей: между упением от мощи государства и тревожным переживанием опасности. Такое сочетание вписывается в более широкий телевизионный контекст, представленный на центральных каналах, в котором криминализированность среды, угрозы со стороны «международного терроризма», происки «олигархов», «шпионов», злоумышления Запада – в первую очередь США – сосуществуют с развлекательными и успокаивающими передачами (репортажи об «успехах» государства, праздничные концерты, юмористические программы)¹⁴.

Важное место в концертах занимает риторика войны; на сцене непременно присутствует человек в форме. В шоу прославляется боеспособность войск, их готовность «постоять за Родину», происходит героизация всех силовых служб.

*«Путь далек ветрам и птицам
От границы до границы,
От Курильских гор, от седых морей
До кавказских рубежей.»*

Припев:

*За Родину свою
Мы постоим, мы постоим,
что б ни случилось!
Мы Родину свою
Не отдадим, не отдадим врагу
на милость!*

*И в ливни, и в снега
Погранвойска – защита матушки-России.
Мы заслоним страну собой
И примем первый бой»¹⁵.*

Военные ансамбли сопровождают большую часть номеров с молодежными и детскими песнями; в концерте в честь Дня ФСБ в 2004-м песня группы «Любэ» исполнялась вместе с офицерами группы «Альфа». Война как род занятий наделяется высокими смыслами. Бравые марши сменяются плачом по погибшим товарищам. Все элементы, из которых создается образ: оплакивание, мемориал, «небеса», «вечность», торжественность ритуала (во время исполнения Кобзоном песни Газманова «Офицеры» зал встает) – должны свидетельствовать о трагедии, переживаемой нацией. Войну проклинают, но участие в ней рассматривается как высокий долг каждого.

*«Серыми тучами небо затянуто,
Нервы гитарной струною натянуты.
Дождь барабанит с утра и до вечера,
Время застывшее кажется вечностью.
Мы наступаем по всем направлениям,
Танки, пехота, огонь артиллерии.
Нас убивают, но мы выживаем,
И снова в атаку себя мы бросаем.*

Припев:

*Давай за жизнь, давай, брат, до конца.
Давай за тех, кто с нами был тогда.
Давай за жизнь, будь прооклята война!
Помянем тех, кто с нами был тогда»¹⁶.*

*«Господа офицеры, как сберечь вашу веру?
На разрытых могилах ваши души хрипят.
Что ж мы, братцы, наделали – не смогли
уберечь их,
И теперь они вечно в глаза нам глядят.
Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах,
Позвала их Россия, как бывало не раз.
И опять вы уходите, может, прямо на небо?
И откуда-то сверху прощаете нас»¹⁷.*

Поскольку память о Великой Отечественной войне играет большую роль в самои-

дентификации россиян, ее символы используются для легитимации чеченской войны, новых милитаристских настроений. В праздничных церемониях проводятся параллели между прежними славными сражениями и новыми военными конфликтами. Знаки Победы – знамена, солдатская форма, песни сороковых годов – присваиваются, реесемантизируются, помещаются в контекст перманентной войны.

*«В старом альбоме нашел фотографии
Деда, он был командир Красной армии:
“Сыну на память, Берлин сорок пятого”.
Века ушедшего воспоминания»¹⁸.*

В праздничном концерте в честь Дня Победы группа «Чай вдвоем» исполняет песню 1945 года «Дорога на Берлин» в костюмах, стилизованных под военную форму, с красным знаменем в руках, при этом много-кратно повторяются слова призыва: «С боем взяли город Киев, с боем взяли город Брест, с боем взяли мы Орел, с боем взяли город Минск». Этот реффен, которого нет в оригинальном тексте песни, в нынешних условиях получает новое идеологическое наполнение. Наряду с этим в шоу воспевается современная военная служба.

*«Забрали куда-то прямо из военкомата,
Увезли в дали, автомат в руки дали.
Ты прости, мама, что я был такой упрямый,
Но я служить должен так же, как все!»*

Припев: *Паровоз умчится
прямо на границу.
Так что аты-баты,
мы теперь солдаты. <...>*

*Девушка придет, скажет, всплакнет, спросит:
“Куда ж ты, милок?”
А я буду служить в пограничных войсках,
Я буду служить в пограничных войсках,*

*Я вернусь домой в медалях, в орденах,
Я буду ходить в фуражке, в сапогах,
Так же, как все, в сапогах, в сапогах –
Так же, как все!»¹⁹.*

В финальной части концерта на сцене выступают маленькие дети в форме десантников, танкистов и пограничников, весело исполняют песни о войне²⁰, — таким представляет образ желанного будущего для «государственной нации».

Концепт «государственного национализма», который прослеживается в телевизионных праздничных концертах, по всей видимости, призван выражать позитивную идентичность россиян и задуман как конструктивная основа «новой России». Этот концепт складывается из стереотипизированных элементов этнокультурного русского национализма, «имперской», ностальгии по СССР и использует при этом изоляционистские и милитаристские мотивы, такие, как мобилизация, враждебное окружение, образы войны. В то же время на российском телевидении заметен дефицит адекватных способов для описания современной реальности в ее социальной диверсифицированности,

мультикультурности и разнообразии стилей жизни различных групп общества.

Описанные телевизионные программы пользуются популярностью у зрителей. На концертах артистам активно подпевает зал. В чем причины такого успеха? Скорее всего, дело в том, что подобного рода культурные тексты предлагают зрителям определенную компенсацию. Жителям России, которые постоянно сталкиваются с неуважением, нарушением своих прав, с бессмыслицей армейского произвола, насилием, праздничные концерты являются образы честной милиции, героически защищающей своих сограждан, и славной армии, чей воинский труд исполнен высоких смыслов. Они создают мифологизированный образ мощного, процветающего государства, которое заботится о своих гражданах. Для тех, кто хочет видеть Россию страной, которая пользуется уважением в мире, конструируется образ «великой державы». Телевизионные праздники показывают иллюзорное пространство единодушия и воображаемую общность целей «всей нации», предлагая форму коллективного эскапизма в масштабах всего государства. ■

ПРИМЕЧАНИЯ ¹ О роли телевидения в постсоветском социуме см.: Дубин Б. В. Телевизионная эпоха: Жизнь после // Дубин Б. В. Интеллектуальные группы и символические формы. М., 2004.

² Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество, культура. М., 2000. С. 352.

³ О «потоке» телевизионных сообщений см.: Williams R. Television: Technology and Cultural Form. N. Y., 1974.

⁴ По данным ФОМ от 2003 г.: «Практически неизменной остается популярность таких праздников, как День независимости России (10 проц. и 12 проц. по данным двух опросов); День Конституции (соответственно 9 проц. и 11 проц.), 7 ноября — День Октябрьской революции, он же

День согласия и примирения (17 проц. и 16 процентов). День всех влюбленных (День святого Валентина — 14 февраля)... в России также имеет постоянное число сторонников — 16 проц. и 15 процентов<...> Новый год неизменно занимает первое место среди всех праздников: в ходе нашего опроса 94 проц. россиян сказали, что обычно его отмечают (далее по популярности идут свой день рождения и 8 Марта — соответственно 85 проц. и 70 процентов). Старый Новый год отмечают 40 проц. наших сограждан. <...> Что касается Рождества... если в 1998 г. говорили, что празднуют его 49 проц. респондентов, то сегодня — 61 процент». Цит. по: Петрова А. Новый год и другие праздники (http://bd.fom.ru/report/map/events/4257_13991/d030132).

⁵ Указ Президента РФ от 31.05.2006, № 549 (<http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=033996>).

⁶ Этот список продолжается следующим образом: «Памятными днями устанавливаются 21 января – День инженерных войск, второе воскресенье апреля – День войск противовоздушной обороны, последнее воскресенье июля – День Военно-морского флота, 1 августа – День тыла Вооруженных сил Российской Федерации, 2 августа – День Воздушно-десантных войск, 6 августа – День Железнодорожных войск, 12 августа – День Военно-воздушных сил, 2 сентября – День российской гвардии, 1 октября – День Сухопутных войск, 4 октября – День Космических войск, 24 октября – День подразделений специального назначения, 13 ноября – День войск радиационной, химической и биологической защиты, 19 ноября – День ракетных войск и артиллерии и 17 декабря – День Ракетных войск стратегического назначения» (<http://www.newizv.ru/news/2006-06-02/47511/>).

⁷ См., напр.: Дубин Б.В. Массовые коммуникации и коллективная идентичность // Дубин Б. В. Интеллектуальные группы и символические формы. М., 2004; Гудков Л.Д. К проблеме негативной идентификации // Гудков Л. Д. Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 гг. М., 2004.

⁸ «Моя Родина». Песня А. Пахмутовой и Н. Добронравова (2002), прозвучавшая на концерте в честь Дня милиции 2004 г.

⁹ «Моя Родина».

¹⁰ «Сделан в СССР». Песня О. Газманова.

¹¹ Гудков Л.Д. Указ. соч.

¹² Концерт в честь Дня ФСБ (2004).

¹³ Подробнее об этом см.: Зверева Г.И. Вечная война. Тема войны в российской медиакультуре // Критическая масса. 2005. № 2.

¹⁴ Такое сочетание тревожного и успокаивающего характерно не только для российского телевидения, однако существенной представляется разница в том, как именно ТВ говорит о криминале. Например, британское телевидение, рассказывая о преступлениях, показывает, что это – нарушение нормы. В то время как отечественное ТВ создает образ криминала как обычной, нормальной повседневности.

¹⁵ «Марш пограничных войск». Песня на стихах И. Резника.

¹⁶ «Давай за...». Песня Н. Растворгруева.

¹⁷ «Офицеры». Песня О. Газманова.

¹⁸ «Давай за...». Песня Н. Растворгруева.

¹⁹ «Граница». Песня Л. Агутиной.

²⁰ Некоторые тексты, такие, как, в частности, «Три танкиста», в современной массовой культуре воспринимаются исключительно как развлекательные (например, про «трех веселых друзей»). Однако прозвучавший в детском исполнении неполный текст «Танкистов» заставил вспомнить заключительные слова этой песни: «Мчались танки, ветер подымая, / Наступала грозная броня, / И летели наземь самураи / Под напором стали и огня. / И добили – песня в том порука – / Всех врагов в атаке огневой / Три танкиста, три веселых друга, / Экипаж машины боевой».

Саморегулирование журналистов в постсоветских государствах

Социальная ответственность журналистов повсеместно подменяется ответственностью перед государственной властью, что неизбежно приводит к отчуждению СМИ и журналистов от общества | АНДРЕЙ РИХТЕР

По результатам всероссийского опроса общественного мнения, проведённого в 2005 году компанией «РОМИР-Мониторинг», средствам массовой информации доверяют лишь 7 проц. населения страны¹. Доверие к СМИ снижается и в других постсоветских государствах². И хотя главными причинами недоверия называют деградацию редакционного процесса, во главу угла которого ставится подчинение воле владельца, борьба за рейтинги и рекламодателя, в том же ряду нам видится и дефицит этических норм в журналистском процессе. Именно недоверие к СМИ позволяет обществу соглашаться с любыми ограничениями свобод «зарвавшихся» журналистов, инициированными властью.

Сказанное не должно создавать впечатление, что этика и саморегулирование журналистов на постсоветском пространстве не развиваются вовсе. Несмотря на то что в некоторых из исследуемых государств, например Таджикистане, этических кодексов и практики саморегулирования действительно не существует³, в большинстве стран эта область профессиональных отношений

хотя и находится в затяжном кризисе, но тем не менее постепенно меняется и приобретает новые черты, причем это развитие обнруживает общие закономерности, характерные для региона в целом.

Смешение этики и права

Первой общей характеристикой стало внедрение норм, регулирующих этические и профессиональные правила поведения журналиста, в национальное законодательство почти всех исследуемых государств. Речь идет о следующих обязанностях: проверять достоверность как полученных журналистом сведений, так и сообщаемой им информации, представлять для публикации объективную информацию, удовлетворять просьбу интервьюируемого об авторизации цитируемых высказываний, предупреждать о проведении аудио- и видеозаписи, не использовать профессиональную информацию в личных целях и т. п.⁴. Одно из таких требований вошло даже в текст конституций ряда стран: в Молдавии норма статьи 34 требует от средств массовой информации, как государственных, так и частных, обеспечивать

достоверное информирование общественности, а в Узбекистане норма статьи 67 говорит о необходимости установить ответственность СМИ «за достоверность информации». К вопросам профессиональной морали следует отнести и закрепленное в законодательстве о СМИ право журналиста отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или материала, противоречащего его убеждениям⁵. В некоторых законах о СМИ к обязанностям журналиста прямо отнесено и соблюдение кодексов журналистской этики⁶.

Ситуация смешения этики и права наблюдается и в законах этих стран о рекламе. Вслед за российским Законом «О рекламе» 1995 года⁷ они говорят о недопустимости неэтичной рекламы (см., например, ст. 11 закона Молдавии, ст. 8 – Таджикистана, ст. 3 – Грузии).

Принятый в Грузии в 2004 году Закон «О вещании» предусмотрел разработку Кодекса поведения вещателей, который утверждает Национальная комиссия по ком-

сформировалось, а дух профессиональной общности еще не успел сплотить журналистское сообщество, механизмы саморегуляции слишком слабы, чтобы обеспечить эффективность деонтологических норм¹⁰. Таким образом, включение норм профессионального поведения в текст закона якобы придает им обязательность. При этом нельзя не отметить, что история применения в постсоветских государствах указанных положений законодательства о СМИ и о рекламе не богата примерами прежде всего в силу практической трудности использования подобных «этико-правовых» норм. Нормы эти во многом остаются благим пожеланием законодателей видеть прессу ответственной и правдивой.

В любом случае знаменателен сам факт проникновения этических норм в текст закона в обществах переходного типа. При этом вряд ли можно согласиться и с предложением исследователя Юрия Трошкина указывать в правовых актах обязанность для журнали-

“Недоверие к СМИ позволяет обществу соглашаться с любыми ограничениями свобод журналистов, инициированными властью”.

муникациям Грузии – постоянно действующий независимый от институтов государственной власти регулирующий орган⁸. Согласно закону, соблюдать нормы этого кодекса будут обязаны все организации, имеющие лицензию на вещание, а комиссия вправе применять санкции к нарушителям.

Несмотря на то, что право и мораль – два разнородных социальных регулятора, которые «нельзя смешивать в одном тексте, тем более тексте закона»⁹, подобное смешение объясняется теоретиками российского масово-информационного права в первую очередь тем, что «в условиях переходного государства, когда гражданское общество еще не

стов следовать основным принципам этики¹¹. Во многих странах существует бульварная пресса, однако, обращаясь к ней, читатель не ждет от авторов и репортеров служения общественному долгу или высокой морали. Требование, чтобы журналисты из подобных СМИ следовали этическим правилам под страхом судебного преследования, было бы как чрезмерным, так и нереалистичным.

Хартия подневольности

Второй общей чертой, характерной для развития журналистской этики в постсоветских государствах, является то, что этические

кодексы и системы саморегулирования журналистов зачастую принимаются в ответ на угрозу установления правовых ограничений для деятельности средств массовой информации. Само по себе это явление не нужно рассматривать как предосудительное или специфическое для данного региона. Опасность для реального саморегулирования возникает, когда принятие этических кодексов становится отвлекающим и упреждающим маневром со стороны СМИ, которые таким образом пытаются избежать введения новых ограничений. В таком случае при исчезновении непосредственной угрозы пропадает и интерес журналистских организаций к соблюдению только что принятых этических кодексов и хартий.

Так, разработка журналистским сообществом Антитеррористической конвенции в России была связана исключительно с принятием Государственной думой в ноябре 2002 года поправок к законам «О борьбе с терроризмом» и «О средствах массовой информации», регламентирующих освещение в СМИ так называемых контртеррористических операций. Предлагаемые изменения имели целью не допустить распространения через СМИ информации, препятствующей проведению таких операций и создающей угрозу жизни и здоровью людей. Поправки также запрещали распространение информации, содержащей высказывания, направленные на воспрепятствование проведению контртеррористической операции и пропаганду либо оправдание сопротивления ее проведению, а также раскрывающей персональные данные о сотрудниках спецподразделений и членах оперативного штаба, равно как и о людях, оказывающих им содействие, без согласия всех этих названных лиц. Предполагалось запретить использование СМИ для распространения сведений о технологии изготовления оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Столкнувшись

с подобного рода угрозой, редакторы влиятельных московских СМИ подписали обращение к президенту РФ с просьбой отклонить закон и спустя несколько дней были приняты Владимиром Путиным. Он предложил им найти баланс между ограничениями в экстремальных ситуациях и полноценным информированием общества. «Полагаю, что журналистскому сообществу необходимо выработать корпоративные нормы поведения в экстремальных ситуациях», — сказал Путин. Участвовавший в той встрече генеральный директор Первого канала Константин Эрнст ответил, что журналисты и руководители СМИ уже «готовы совместно с законодателями разработать эти правила»¹². В тот же день президент наложил вето на закон, который так и не вступил в силу. Разработанная же в соответствии с обещанием руководителей средств массовой информации Антитеррористическая конвенция (правила поведения СМИ в случаях террористического акта и контртеррористической операции) была подписана 8 апреля 2003 года. Документ вводит ряд ограничений на действия журналистов¹³. В частности, журналисты не должны:

- брать у террористов интервью по своей инициативе во время теракта, кроме как по просьбе или с санкции оперативного штаба;
- предоставлять террористам возможность выйти в прямой эфир без предварительных консультаций с оперативным штабом;
- самостоятельно брать на себя роль посредника и т. д.

Следует отметить, что вскоре после принятия и сама конвенция, и ее положения оказались забыты: ни СМИ, ни власти о ней практически не вспоминали. СМИ фактически пренебрегли обязательствами «быть тактичными и внимательными к чувствам родных и близких жертв терроризма» и «избегать излишнего натурализма при показе

места события и его участников», в частности, при освещении теракта у столичной гостиницы «Националь» и в московском метро в конце 2003 – начале 2004 года.

История повторилась при принятии Хартии российских телевещателей «Против насилия и жестокости». Ее текст был подписан 8 июня 2005 года в Государственной

впрочем, часто указывали и сами депутаты Думы¹⁵.

Аналогичная связь между законотворчеством и саморегулированием наблюдается также и в Украине. Одним из первых шагов Индустриального телевизионного комитета, организации крупнейших украинских вещателей, было обращение в конце 2003 года в

“Этические кодексы зачастую принимаются в ответ на угрозу установления правовых ограничений для деятельности СМИ”.

думе руководителями крупнейших телеканалов в присутствии лидеров парламентских фракций. Принятие этого этического кодекса было очевидным образом связано с обсуждением в Думе в конце 2004 – начале 2005 года многочисленных поправок в закон о СМИ, направленных на ограничение показа на телевидении сцен насилия и жестокости. Журналисты называли этот документ «хартией подневольности» и считали, что она была подписана «из соображений, далеких от заботы о благе зрителей»¹⁴. Обязательства, которые «добровольно» приняли на себя общенациональные вещатели, состояли в основном в соблюдении «прав детей на защиту и помощь, и прежде всего их права на получение информации, не наносящей вред их физическому и нравственному здоровью», особенно при показе сцен насилия и жестокости. Подписание широко освещалось в прессе, но любопытно, что, когда по прошествии нескольких месяцев после заключения Хартии нами была предпринята попытка разыскать ее полный текст, выяснилось, что ни одна из телекомпаний-подписчиков (Первый канал, «Россия», НТВ, ТВЦ, СТС и REN TV) не опубликовала ее даже на своем интернет-сайте. Не появилась она и на страницах печати. Стоит ли говорить, что Хартия «Против насилия и жестокости» оказалась практически неэффективной, на что,

Верховную раду с просьбой проголосовать против законопроекта «О защите общественной морали от продукции, пропагандирующей порнографию» (закон, тем не менее, был принят).

Любопытным примером является инициатива журналистских организаций в Литве в ходе обсуждения проекта Закона «Об общественной информации» в 1995–1996 годах. Стремясь избежать чрезмерного регулирования СМИ со стороны государства, они предложили создать из числа представителей самих творческих ассоциаций Комиссию по этике журналистов и издателей, с тем чтобы поручить ей контроль за содержанием СМИ. Важнейшим итогом работы этой комиссии можно считать быстрое охлаждение к ней интереса со стороны владельцев СМИ, редакторов и журналистов.

Нельзя не упомянуть и появление в апреле 1999 года Хартии телерадиовещателей. Подписавшие этот документ руководители крупнейших российских телекомпаний взяли на себя ответственность за обеспечение достоверной информации, защиты прав и законных интересов граждан и организаций, общественного здоровья и нравственности, а также определили действия, несовместимые с нормами цивилизованной журналистики. Причиной появления этого документа считается принятый в марте того же года Закон

«О Высшем совете по защите нравственности телевизионного вещания и радиовещания в Российской Федерации»¹⁶. Для контроля над выполнением Хартии руководители телеканалов постановили создать общественный вещательный совет. Однако, когда вслед за принятием Хартии президент РФ отклонил указанный закон, общественный совет так и не был создан. «В позиции руководителей российских телеканалов отчетливо просматривается отношение к подписанному ими самими документу как к вынужденному договору с обществом о правилах игры. А когда опасность введения правовых регуляторов миновала, телекомпании охладели и к самой идее Хартии. Для них она представляет собой только рамки, ограничивающие свободу самовыражения, но никак не нужный самим журналистам ориентир в мире нравственных ценностей»¹⁷. Эта оценка справедлива, но с поправкой на то, что речь шла о договоре не с обществом, а с властью. Другими словами, в моменты, когда возникает угроза принятия тех или иных ограничений в отношении содержания массовой информации, владельцы и менеджеры СМИ заигрывают с органами государственной власти, пытаясь убедить их отказаться от нововведений. Такое заигрывание зачастую инициируется руководителями государства для того, чтобы не выглядеть «душителями прессы», а возложить ответственность за новые и более жесткие условия игры на самих журналистов. К подобным документам применимо определение, ранее использованное исследователем прикладной этики Владимиром Бакштановским, который охарактеризовал их как «акт формализации формального же представления о социальной ответственности прессы»¹⁸.

Саморегулирование под государственным контролем

Третья особенность этического саморегулирования в журналистской среде состоит в

том, что органы саморегулирования могут создаваться при участии органов власти и в соответствии с нормативными актами государства, которое гарантирует (в той или иной степени) соблюдение решений этих органов¹⁹.

Любопытным примером такого подхода явилась Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ (СПИС), которая была создана по президентскому Указу от 31 декабря 1993 года. Ее мандат включал разрешение любых конфликтов, связанных со средствами массовой информации, с приоритетом тех случаев, которые могли иметь значение не только для конкретного издания, но и для свободы массовой информации в целом.

Судебная палата по информационным спорам не была встроена в судебную систему Российской Федерации и называлась судебной только в силу процедуры рассмотрения споров. Однако по Указу президента ее решения являлись обязательными как для государственных органов, так и для государственных СМИ. Наиболее важные решения Судебной палаты надлежало в обязательном порядке публиковать в правительской «Российской газете», что должно было способствовать их исполнению.

В состав СПИС входили как бывшие государственные служащие, депутаты парламента и журналисты, так и преподаватели и даже студенты вузов. За годы своего существования Судебная палата рассмотрела несколько сотен конфликтов, основывая свои решения и разъяснения не только на нормах российского права, но и на этических стандартах. Члены СПИС неоднократно подчеркивали, что они не являются сотрудниками административного органа при президенте Борисе Ельцине, но служат членами Судебной палаты при *институте* президента РФ. Вмешательство первого президента страны в деятельность СПИС было незначи-

тельным, о чём, в частности, свидетельствуют ее решения, осуждающие государственных чиновников и лояльные власти СМИ. Многие из решений Судебной палаты защищали журналистов от незаконного вмешательства в их деятельность со стороны органов государственной власти. Ситуация изменилась с приходом в Кремль Владимира Путина: в ходе реорганизации аппарата Администрации Президента РФ летом 2000 года Судебная палата по информационным спорам была упразднена.

Комиссия по этике журналистов и издателей в Литовской Республике также представляет собой пример органа саморегулирования, введенного нормативным актом. Она была учреждена Законом «Об общественной информации», принятым литовским парламентом. В соответствии с ним в эту комиссию по одному представителю назначают Литовский центр по правам человека, Ассоциацию психиатров Литвы,

стороннего характера; надзор за соблюдением положений законов, запрещающих разжигание розни по национальному, расовому, религиозному, социальному или половому признаку, клевету и дезинформацию. Закон обязал Комиссию руководствоваться в своей деятельности как правовыми актами, так и Кодексом этики журналистов и издателей Литвы, резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы «О журналистской этике».

Решения Комиссии о нарушениях профессиональной этики и других нарушениях должны немедленно обнародоваться в тех СМИ, в которых Комиссия их обнаружила. Если издатель и редакция не обнаруживают решение Комиссии, то оно должно быть обнародовано по общественному Литовскому национальному радио. Редакции, не согласные с решениями Комиссии, могут обжаловать их в суде, но в любом случае обязаны опубликовать их в установленном зако-

“Когда возникает угроза принятия ограничений в отношении содержания массовой информации, владельцы и менеджеры СМИ заигрывают с властью”.

Литовская епископская конференция, Ассоциация издателей периодической печати Литвы, Ассоциация Литовского радио и телевидения, Ассоциация кабельного телевидения Литвы, Ассоциация регионального телевидения, Союз журналистов Литвы, Общество журналистов Литвы, Центр журналистики Литвы, Литовское национальное радио и телевидение, Литовское отделение Международной ассоциации рекламы.

Среди функций Комиссии – рассмотрение случаев нарушения профессиональной этики; надзор за соблюдением требований, предъявляемых к публичному показу, тиражированию и распространению программ и изданий эротического и насиль-

ного порядка. Однако, поскольку закон не предусматривает наказания за фактический отказ опубликовать решение Комиссии, на практике СМИ, уличенные в нарушении этических норм, как правило, уклоняются от этой повинности²⁰.

В Литве, наряду с общественной Комиссией по этике журналистов и издателей, действует инспектор по журналистской этике – государственное должностное лицо. Инспектор находится в постоянном взаимодействии с Комиссией, он регулярно рассматривает жалобы и ежегодно публикует анализ ситуации со СМИ.

В Азербайджане на первом съезде азербайджанских журналистов, состоявшем-

ся в 2003 году, был создан Совет по прессе, однако, по оценке *Freedom House*²¹, Совет находится под контролем государства. В ежегодном отчете этой организации о свободе прессы в различных странах мира за 2004-й, в частности, говорится, что Совет по прессе, в рядах которого состоят свыше 180 средств массовой информации, находится под колпаком властей²². Это заявление вызвало резкое недовольство самого Совета: в качестве контраргумента он указал, что власти до сих пор не создали нормальной обстановки для его деятельности и он вынужден функционировать в некомфортных условиях.

Под опекой государства находится и действующий с 2003 года при президенте Аскаре Акаеве в Киргизии Медиасовет – «общественный добровольный корпоративный институт гражданского общества, образованный в целях саморегулирования деятельности СМИ». Его состав определяется участниками республиканской конференции СМИ из числа авторитетных журналистов, политиков, деятелей литературы, искусства и науки. Медиасовет состоит из девяти постоянных членов и представителей с совещательным голосом от каждой административной области Киргизии. Медиасовет осуществляет свою деятельность на общественных началах. По мнению самих членов Совета, он действовал лишь до тех пор, пока административные функции (в частности, организация заседаний, публикации и пр.) фактически выполняла пресс-служба президента. После событий марта 2005 года Совет заседаний не проводил.

Таким образом, в описанных случаях механизм саморегулирования журналистов оказывается единственным и приобретает юридическую силу лишь при условии, что он получает статус, утвержденный авторитетом государства, а значит, и административный ресурс.

Корпоративная солидарность вместо профессиональной

Из первых трех особенностей этического саморегулирования в журналистской среде следует четвертая: принятие кодексов саморегулирования на постсоветском пространстве – это прежде всего процесс, инициируемый не снизу – по инициативе журналистов, профсоюзов или редакций, а сверху, под началом органов власти, владельцев и менеджеров СМИ²³. С точки зрения рядовых журналистов, введение подобных кодексов представляется внешней мерой, направленной на ограничение свободы, а не как нужный им самим нравственный ориентир. Фактически руководители СМИ подменяют понятие профессиональной солидарности и профессиональной этики понятиями корпоративной солидарности и корпоративной этики, предлагая рядовым журналистам сверяться с «внутренним цензором» (в действительности навязанным извне) во избежание давления со стороны государства²⁴.

Таким образом, имеет место процесс «принудительного саморегулирования» журналистской деятельности. Государство стремится контролировать – напрямую или через руководителей и владельцев СМИ – решение профессиональных вопросов журналистского сообщества, а также деятельность органов саморегулирования журналистов, не пуская этот процесс на самотек. Поскольку речь идет все-таки о специфической сфере отношений, власть не наделяет органы саморегулирования судебными полномочиями, а этическим кодексам не придает силу законов, останавливаясь в шаге от этого, но затем, когда оказывается, что принятые меры неэффективны, а этические кодексы не выполняются, запускает процесс «принудительного саморегулирования» вновь и вновь.

Следствием такой политики становятся либо утрата авторитета органами саморегулирования, либо их упразднение в случае

нежелания подчиняться диктату органов власти. Например, как только Судебная палата по информационным спорам, наиболее успешный орган саморегулирования журналистов в России, стала критиковать чиновников за создание препятствий в работе СМИ, ее без объяснения причин ликвидировали в ходе очередной реформы аппарата власти.

Новой попыткой управлять прессой через «общественные органы» можно считать наделение Общественной палаты РФ полномочиями по контролю над свободой массовой информации. Одной из задач этой палаты стала разработка этического кодекса российского журналиста – правда, с участием самих журналистов, прежде всего из регионов страны, однако приходится отметить, что и на сей раз инициатива создания подобного кодекса исходит сверху. Новый кодекс запла-

такты с прессой для повышения собственной популярности.

Процесс «принудительного саморегулирования» может способствовать в определенных обстоятельствах установлению нравственных ориентиров и не препятствовать свободе СМИ. Публичная политика, направленная на укрепление нравственных основ журналистики, необходима. Однако мы полагаем, что в постсоветских государствах этот процесс зачастую развивается в неправильном направлении (назовем его «корпоративным») именно потому, что он не предусматривает участия в нем рядовых журналистов через профессиональные союзы и ассоциации. Такое участие чрезвычайно важно, поскольку нравственная позиция творческого журналиста нередко отличается от позиции управленца и владельца, преследующих

“Фактически руководители СМИ подменяют понятия профессиональной солидарности и этики понятиями корпоративной солидарности и корпоративной этики”.

нировано разработать и утвердить в начале 2007 года. В состав органов саморегулирования, которые уже действуют в регионах России, например Совет по информационным спорам в Ростове-на-Дону, входят представители законодательного собрания области и местной администрации. Официальное объяснение участия представителей власти в работе Совета состоит в том, что новые органы саморегулирования должны быть авторитетными, а их решения – обязательными, и к тому же органы власти необходимо вовлечь в диалог с журналистами. Сами чиновники, соглашаясь войти в состав органов, не вполне имеющих отношение к их прямым обязанностям, по всей видимости, рассчитывают оказывать влияние на эти советы и проводить государственную политику в СМИ, а также использовать полуформальные кон-

финансовую выгоду и другие собственнические интересы. Государственная публичная политика должна искать союзников в среде журналистов, содействовать развитию в ней этических начал, поощрять нравственный поиск, а не угрожать владельцам СМИ новыми ограничениями свободы массовой информации. Правовые инструменты также могут применяться, но хотя закон может принуждать к саморегулированию СМИ, в особенности общественных и государственных, он, однако, не должен вводить обязательные для всех этические нормы журналистики.

Соблюдение профессиональных требований журналистской работы является наиболее эффективной гарантией и от ограничений со стороны государства, и от давления со стороны собственников СМИ. По мере возрастания роли нравственных цен-

стей и норм в журналистике функция правового контроля должна сокращаться — такова всеобщая практика современных масс-медиа. В конце концов с возникновением новых стандартов профессии и формированием традиции журналистской этики должна исчезнуть и необходимость в «принудительности» саморегулирования со стороны государственной власти. По крайней мере на риторическом уровне это признается и представителями власти, в ведении которых находится сфера массовых коммуникаций. Так, по мнению министра культуры и массовых коммуникаций РФ Александра Соколова, этическое саморегулирование — «это единственный путь, по которому можно маневрировать в очень сложной области запретов и поощрений. Потому что запрет должен быть не формальным актом насилия со стороны государства, а этическим актом неприятия со стороны своей же собственной среды»²⁵.

Препятствия для «естественногого» саморегулирования

Главная функция журналистской этики — не допускать конфликта между потребностью аудитории в правдивой информации и задачами воздействия на нее, диктуемыми владельцем СМИ и государственной властью, но она будет осуществляться только в том случае, если сами журналисты займутся у становлением этических норм и руководящих принципов своей профессии. Между тем на пути естественного саморегулирования журналистской среды стоят несколько препятствий. Главным из них представляется ущербность сложившегося рынка средств массовой информации. Присутствие огромного числа печатных изданий и телерадиопрограмм на медиарынках большинства исследуемых стран объясняется прежде всего тем, что здесь доминируют нерыночные отношения. Это связано с недобросовестной конкуренцией со стороны государственных СМИ, кото-

рые получают финансовую поддержку из бюджета и к тому же пользуются преимуществом при сборе и распространении информации, при том что частные СМИ лишены подобных льгот.

В свою очередь, частный бизнес нередко относится к СМИ не как к предприятию, рассчитанному на извлечение прибыли, а как к своему пиар-отделу. С помощью СМИ владелец продвигает выгодные ему экономические проекты и поддерживает «нужных» политических деятелей либо расправляетесь с неугодными фигурами. Создана система, при которой многие СМИ не зависят от читательского спроса и верности своей аудитории; более важным для них оказывается финансирование со стороны хозяев и влияние на ключевых в их понимании читателей (зрителей, слушателей). В данных условиях быть этичным журналистам невыгодно и даже опасно²⁶.

В тех постсоветских странах, где сложился цивилизованный рынок без государственного вмешательства, например в Эстонии, его монополизировали крупные компании (в данном случае иностранные), заинтересованные исключительно в извлечении прибыли. В понимании этих компаний социальная ответственность журналистики ограничивается освещением скандалов вокруг политиков и иных знаменитостей. Основной же орган саморегулирования контролирует организация работодателей — Эстонская газетная ассоциация (*EALL*)²⁷. При такой ситуации журналистам тоже невыгодно быть этичными: в условиях сокращения числа рабочих мест они вынуждены приспособливаться к сложившейся конъюнктуре — в противном случае они рискуют лишиться работы.

Другим препятствием на пути естественного саморегулирования журналистской среды служит неразвитость самой корпорации журналистов, отсутствие профессионального духа и профессиональных стандар-

тов работников СМИ. Повсеместно в исследуемых странах таёт членство в «старых» союзах журналистов. Для старшего поколения советских журналистов членство в таком союзе больше не дает социальных гарантий и льгот. Дискуссии, которые проводятся в рамках таких ассоциаций, не находят отклика у медиаэлиты и органов власти. Гражданский голос союзов журналистов почти не слышен, их общественная роль ничтожна. Новые поколения журналистов относятся к член-

Необходимо сказать и о том, что в постсоветских обществах не сложилось представления о роли журналистики. Каковы цели и ориентиры этой профессии? Считают ли сами журналисты, что их задачей является служение обществу и обеспечение подотчетности государства его гражданам, или они в первую очередь стремятся быть «четвертой властью»? Должны ли журналисты содействовать информированию, образованию, воспитанию и развлечению общества, или же

“Государство инициирует создание псевдожурналистских ассоциаций и впоследствии именно с ними ведет «диалог» о социальной ответственности СМИ”.

ству в тех или иных организациях как к элементу отжившей структуры общества, отвергнутой с распадом советского строя²⁸.

Государство усугубляет ситуацию, содействуя разобщенности профессионального сообщества. В частности, государство инициирует создание псевдожурналистских ассоциаций типа Индустримального комитета и Медиасоюза в России из менеджеров (и примкнувших к ним журналистов) и впоследствии именно с ними ведет «диалог», в том числе о социальной ответственности СМИ.

Недостаток профессионализма в журналистском сообществе проявляется и в том, что средства массовой информации не прислушиваются к критике со стороны аудитории, общественных организаций, исследователей. Принципиальное несогласие с критическими решениями органов саморегулирования и сорегулирования (как в России, Литве, Эстонии) вызвано тем, что эти органы не пользуются авторитетом, но в то же время оно свидетельствует об отсутствии у менеджеров и журналистов чувства ответственности перед обществом. В свою очередь, оттого что журналисты игнорируют мнение таких органов, их собственный авторитет падает еще ниже.

они могут профессионально заниматься формированием общественного мнения (либо даже манипулировать им), а также стремиться получать максимальную прибыль от своей деятельности? Должна ли журналистика работать так, чтобы СМИ утверждали моральные ценности, разделяемые обществом?

Таким образом, можно заключить, что развитие этических норм и саморегулирования журналистской деятельности в постсоветских государствах характеризуется следующими чертами: профессиональные правила поведения журналиста включаются в национальное законодательство; этические кодексы и системы саморегулирования журналистов принимаются под угрозой введения правовых ограничений для деятельности средств массовой информации; органы саморегулирования создаются при участии власти и в соответствии с нормативным актом государства; наконец, не только принятие этических кодексов, но и их обсуждение происходит без участия рядовых журналистов. Социальная ответственность журналистов повсеместно подменяется ответственностью по вертикали — перед государственной властью, что неизбежно приводит к отчуждению средств массовой информации и журналистов от населения.

На пути естественного саморегулирования журналистской среды стоят два основных препятствия: неразвитость рынка средств массовой информации и неразвитость самой корпорации журналистов, а также отсутствие в обществе представления об институте прессы и его роли в демократическом обществе.

ПРИМЕЧАНИЯ ¹ Результаты этого опроса см.: Новые Известия. 2005. март 18. С. 3.

² По результатам опроса, проведенного в конце 2001 года Национальной статистической службой Армении, СМИ доверяет 16,4 проц. респондентов (сообщение Центра экстремальной журналистики Союза журналистов России от 24.05.2002 г.).

Данные опроса социологической службы Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова в 2002 году показали, что украинским СМИ доверяют 11,8 проц. граждан (сообщение Центра экстремальной журналистики Союза журналистов России от 15.07.2002 г.). Данные опроса того же центра, проведенного в 2006 году, показывают, что, несмотря на все произошедшие в стране перемены, украинским СМИ полностью доверяют лишь 15 проц. граждан (сообщение информационного агентства *Regnum* от 27.05.2006 г.).

³ *Media Sustainability Index 2004. The Development of Sustainable Independent Media in Europe and Eurasia*. Wash., 2005. P. 256.

⁴ См., напр., ст. 49 российского Закона «О средствах массовой информации», ст. 40 белорусского Закона «О печати и других средствах массовой информации», ст. 21 казахстанского Закона «О средствах массовой информации», ст. 7 Закона Киргизской Республики «О защите профессиональной деятельности журналиста», ст. 25 латвийского Закона «О печати и других средствах массовой информации», ст. 20 молдавского Закона «О печати», ст. 26 Закона «О печатных средствах массовой информации (печати) в Украине».

⁵ См., напр., ст. 47 российского Закона «О средствах массовой информации», ст. 20 казахстанского Закона «О средствах массовой информации», ст. 20 Закона Киргизской Республики «О защите профессиональной деятельности журналиста» и др.

Хотя разработка моральных принципов в журналистике переходного периода может происходить под давлением и даже при участии органов государственной власти, претворением их в жизнь должны заниматься сами журналисты. Иное положение дел искажает смысл саморегулирования и ограничивает свободу массовой информации. ■

⁶ См., напр., ст. 3 и ст. 42 Закона «Об общественной информации» Литвы, ст. 20 Закона «О печати» Республики Молдова.

⁷ Действовал до 1 июля 2006 г.

⁸ В конце 2005 года грузинские неправительственные организации совместно с Общественным телевидением Грузии лишь приступили к его разработке.

⁹ *Федотов М.А. Право массовой информации в Российской Федерации*. М., 2002. С. 103.

¹⁰ Там же. С. 15.

¹¹ *Трошкин Ю.В. Свобода слова и власть // Вестник Московского университета*. 1996. Сер. 10. Журналистика. № 4. С. 4.

¹² «Путин предлагает журналистскому сообществу выработать корпоративные нормы поведения в экстремальных ситуациях» (сообщение агентства «Интерфакс» 25 ноября 2003 г.).

¹³ Полный текст Антитеррористической конвенции опубликован в газете «Газета» 9 апреля 2003 г.

¹⁴ Новые Известия. 2005. июнь 8. С. 1.

¹⁵ См., напр.: *Госдума приняла обращение к руководителям телеканалов // РИА Новости*. 2 ноября 2005 г.; *Фаизова С., Бородина А. Людоеды не показались депутатам: НТВ обвинили в нарушении хартии телевещателей // Коммерсантъ*. 2005. ноябрь. 1.

¹⁶ См.: *Абраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста (Сущность, основные функции, становление в России) // Дис. в форме научного доклада докт. философ. наук*. М., 2000. С. 42–43.

¹⁷ Там же.

¹⁸ *Бакштановский В.И. Бремя и счастье моральной ответственности журналиста // Социальная ответственность журналиста: Опыт современного прочтения проблемы*. В 2-х ч. Ч. 1 // Под ред. Ю.В. Казакова. М., 2003. С. 91–118.

¹⁹ Вариантом этой особенности является создание органа саморегулирования под давле-

нием международных организаций, как произошло с Советом по прессе в Азербайджане. Совет был создан в рамках обязательств государства перед Советом Европы в связи с принятием Азербайджана в члены этой организации. Другим вариантом того же может служить заключение формального соглашения с властью о тех либо иных принципах работы или сотрудничества, например Договор об общественном согласии, подписанный редакторами многих российских СМИ в начале 1990-х годов.

²⁰ Lithuania // EU Monitoring and Advocacy Program of the Open Society Institute. Television across Europe: Regulation, Policy and Independence. Monitoring reports. Budapest; N. Y., 2005. Vol. 2. P. 1032.

²¹ Freedom of the Press 2004: A Global Survey of Media Independence. Freedom House, 2004. P. 32.

²² Там же. Это мнение подтверждается и главным редактором азербайджанской газеты «Новое время» Шакиром Габилоглу: «Формирование членов Совета по прессе происходило по плану, заранее подготовленному аппаратом президента. Заранее в СМИ был оглашен список членов Совета, которых руководство страны хочет видеть, и он подтвердился на 80 проц. по итогам съезда» (<http://www.akipress.org/datanew.php?tab=news&numb=5557>).

²³ Не случайно представители власти всегда гордятся получаемым результатом и стремятся «освятить» результат такого принуждения. Так, указанная выше Антитеррористическая конвенция была подписана в присутствии министра по делам печати и массовых коммуникаций РФ, а

подписание Хартии российских телевещателей «Против насилия и жестокости» проходило в здании Государственной думы в присутствии лидеров парламентских фракций.

²⁴ В данном контексте нельзя не упомянуть практику 1990-х годов. Тогда условием получения западных грантов редакциями СМИ на постсоветском пространстве было принятие ими собственных этических кодексов. Такие кодексы быстро переводились или списывались из доступных источников, а затем столь же быстро «принимались» редакциями. Стоит ли говорить, что об их существовании забывали по получении искомой финансовой помощи.

²⁵ Вначале было слово. Свободное // Телефorum (Москва). 2005. № 2. С. 18.

²⁶ Да и сами владельцы СМИ признают мораль шорами для своего «бизнеса» (см.: Вначале было слово. С. 18). См. также: *Media Sustainability Index 2004. The Development of Sustainable Independent Media in Europe and Eurasia*. Wash., 2005. P. 228.

²⁷ Примечательно, что эта же ассоциация издателей и редакторов вначале эффективно парализовала работу общественного Совета прессы, а затем подменила его «своим» органом с тем же названием. См.: Лаук Э., Харро-Лоййт Х. Саморегулирование: система защиты для «цеха» или ошейник для журналиста? (Заметки об эстонском и финском опыте) // Саморегулирование журналистского сообщества: Опыт. Проблемы. Перспективы становления в России. 2-е изд. М., 2004. С. 111–124.

²⁸ См., напр.: *Media Sustainability Index 2004*. 2005. P. 147.

Перспективы доминирующей партии в России

Может ли «партия власти» стать основным механизмом, обеспечивающим преемственность российского политического режима?

Владимир ГЕЛЬМАН

Выступая 7 февраля 2006 года в Центре партийной учебы и подготовки кадров партии «Единая Россия», заместитель руководителя Администрации Президента РФ Владислав Сурков поставил перед слушателями центра «серезную задачу» — обеспечить доминирование партии в политической системе России «в течение минимум 10–15 лет»¹. Данный призыв примечателен не только тем, что демонстрирует расширение временного горизонта в политическом планировании российских властей далеко за пределы второго президентского срока Владимира Путина, — это также указание на то, что «партия власти»² может стать основным механизмом, обеспечивающим преемственность российского политического режима. Подобная тенденция существенным образом отличает Россию от ряда других постсоветских государств, недемократические режимы которых носят сугубо персоналистский характер. В самом деле, лидеры большинства стран СНГ в течение полутора десятилетий либо игнорировали партии в качестве инструментов своего господства (подобно режимам Каримова в Узбекистане и Лукашенко в Белоруссии), либо создавали «партии власти» *ad hoc* — как одноразовые инструменты, а не как долгосрочные проекты (в Казахстане и Азербайджане). Некоторые «партии власти» терпели неудачу, не имея шансов завое-

вать парламентское большинство (в Украине в 1998-м и в России в 1995 году), и поэтому достижения «Единой России», обладающей сегодня конституционным большинством в Государственной думе и «контрольным пакетом» мандатов в ряде региональных легислатур, остаются исключением на постсоветском пространстве³.

Известно, что перспективы недемократических режимов обусловлены их природой. Сравнительное исследование, проведенное Барбарой Геддес, демонстрирует⁴, что персоналистские авторитарные режимы сохраняются в среднем не более 15–18 лет и весьма редко переживают своих создателей, хотя зачастую их крах ведет к появлению на их месте других персоналистских или военных режимов, когда автократы в погонах и без погон лишь сменяют друг друга. Напротив, недемократические режимы с доминирующей партией гораздо устойчивее: они сохраняют свою власть более чем в два раза дольше, нежели персоналистские. В поддержку тезиса Геддес говорит не только история более чем 70-летнего однопартийного режима в Советском Союзе, но и недавняя волна «цветных революций» в Грузии, Украине и Киргизии. Режимы Шеварднадзе, Кучмы и Акаева, по разным причинам не сумев консолидировать элиты своих стран посредством организации единой доминирующей партии, пытались опираться на конкурировав-

шие друг с другом патронажно-клиентельные сети. Доминирующие партии не являются уникальной особенностью недемократических режимов. Широко известна и практика «нетипичных» демократий (*uncommon democracies*)⁵, подобных Японии или Швеции, где доминирующие партии сохраняли власть десятилетиями. Не случайно параллели именно с этими странами проводил в своем выступлении Сурков. Однако сопоставление «единороссов» с японскими либерал-демократами или шведскими социал-демократами оставляет за скобками очевидно несправедливый характер российского избирательного процесса (одностороннее и пристрастное освещение выборов в средствах массовой информации, административная мобилизация избирателей и пр.), равно как и специфику институциональных аспектов российской политической системы. Куда более корректно сравнение российской «партии власти» с мексиканской PRI – Институционно-революционной партией (ИРП), которая сохраняла свой доминирующий статус в период с 1929 по 2000 год. Хотя сходство политического развития современной России и Мексики 1930–1940-х уже отмечалось отечественными и зарубежными наблюдателями⁶, роль «партий власти» в политике обеих стран нуждается в более глубоком анализе.

«Партия власти» по-мексикански

Генезис мексиканской «партии власти» существенно отличается от российского случая. Мексика, как и ряд других стран Латинской Америки, заимствовав американскую модель конституции с сильной президентской властью, не сумела построить стабильную конкурентную партийную систему. В течение долгого времени ей были присущи режимы личной власти «каудильо», самым известным из которых был правивший страной на протяжении 34 лет (1876–1910) Порфирио Диас.

После революции 1910–1917 годов в конституцию Мексики была внесена норма, запрещающая переизбрание главы государства по окончании срока его полномочий. На первом этапе это не повлияло на развитие партий: в 1924-м президента Альваро Обрегона сменил победивший на выборах его соратник и преемник Плутарко Кальес, а четыре года спустя Обрегон был вновь избран на пост главы государства при поддержке Кальеса. Но на банкете по случаю этой победы Обрегон был застрелен религиозным фанатиком, и мексиканская элита, едва пришедшая в себя после революции и длительного периода нестабильности, оказалась перед угрозой нового политического кризиса. В этой ситуации Кальес, не имевший законного права снова занять пост президента, но стремившийся предотвратить внутриэлитный конфликт, пошел по нестандартному для латиноамериканских лидеров пути. Добившись от парламента назначения своего ставленника в качестве временного президента, он не только манипулировал за кулисами принятием всех политических решений, но и создал политическую коалицию, предназначенную поддерживать стабильность и преемственность режима, – Национально-революционную партию (предшественница PRI). В нее вошли некоторые прежние партии, часть профсоюзов, агриарии, военные и локальные политические машины местных боссов («касиков»). Новоявленная «партия власти» взяла под свой контроль важнейшие правительственные посты и, опираясь на государственный аппарат, получила подавляющее превосходство на выборах, характеризовавшихся высоким уровнем фальсификации результатов вплоть до конца эпохи PRI. Но подлинной опорой и важнейшим инструментом режима «партия власти» стала лишь в период президентства Ласаро Карденаса (1934–1940). Именно благодаря его усилиям партия была реорганизована по корпора-

тистскому принципу. Она превратилась из рыхлой коалиции в иерархически организованную структуру, которая пронизала государственный аппарат и армию, обеспечив эффективный массовый патронаж. Карденас же с помощью партии смог избавиться от вызовов со стороны военных и «касиков», установить свой контроль над профсоюзами, раздать некоторое число земельных наделов крестьянам, а также национализиро-

ников (как правило, из числа министров) и по истечении президентского срока (избрание на второй срок, как уже упоминалось, было запрещено) уходили с авансцены мексиканской политики. Хотя формально «партия власти» номинировала кандидатов на президентский пост, на деле именно глава государства контролировал партию, назначая своих ставленников на посты партийных лидеров⁹. Соответственно воздействие *PRI*

“Персоналистские авторитарные режимы сохраняются в среднем не более 15—18 лет и весьма редко переживают своих создателей”.

вать нефтяную промышленность, что усилило экономические позиции правящей элиты. Кальес, оказавшийся не у дел и пытавшийся играть свою игру, был выслан из страны⁷. В 1940 году, по окончании президентского срока Карденаса, его на посту главы государства успешно сменил предложенный им преемник Альвио Камачо, и последующие десятилетия стали золотым веком стабильности мексиканского режима⁸. Достаточно сказать, что Мексика оказалась единственной латиноамериканской страной, сохранившей недемократический режим и при этом избежавшей государственных и военных переворотов после Второй мировой войны.

Отметим некоторые специфические черты мексиканской «партии власти».

Во-первых, *PRI* была не столько правящей, то есть определяющей состав и политику правительства, сколько президентской партией, поддержившей статус-кво независимо от персоналий и политического курса руководства страны. Сменявшие друг друга каждые шесть лет главы государства самостоятельно формировали кабинеты министров, опираясь на профессионалов-технократов и (в меньшей мере) на свои личные клиенты, сами подбирали себе преем-

на выработку политического курса и принятие важнейших решений было ограниченным: ключевую роль в этом процессе играли правительство и влиятельные группы (бизнес, профсоюзы), а партия *post factum* одобряла спущенные сверху президентские законопроекты¹⁰. Это приводило к своего рода эффекту маятника, когда президентов левой ориентации регулярно сменяли правые и наоборот¹¹, безотносительно не только к воле избирателей, но и к мнению партийных боссов.

Во-вторых, основным ресурсом мексиканской «партии власти» было ее сращение с государственным аппаратом (дополнявшееся массовым патронажем, особенно на местном уровне), но никак не идеология, остававшаяся эклектичной и весьма расплывчатой. В то же время в рамках традиционного лево-правого континуума *PRI* устойчиво занимала место «центра», загоняя в узкие идеологические ниши как многочисленные, но очень слабые левые партии, так и связанные с католической церковью правые круги, которых представляла консервативная Партия национального действия (*PAN*), стабильно получавшая на выборах не более 15 проц. голосов. Присутствие в мексиканской полити-

ке оппозиции, неспособной создать серьезные вызовы режиму, лишь легитимировало безраздельное господство *PRI* как на электоральной, так и на парламентской арене¹². Более того, в 1977-м в Мексике была проведена реформа избирательной системы, направленная на расширение представительства оппозиции в парламенте. Одним из следствий подобного положения дел стала относительно низкая степень репрессивности мексиканского режима, до известных пределов терпевшего плурализм в средствах массовой информации и автономию университетов. Как отмечалось в 1960-е годы, по отношению к диссидентам режим предпочитал стратегию кооптации, предлагая им возможности карьерного роста и/или материальные блага в обмен на лояльность «партии власти»¹³. Если же те проявляли несговорчивость, то он мог применить и силу (разгон студенческих манифестаций, закрытие неугодных газет и т. д.)¹⁴.

В-третьих, *PRI* обладала довольно необычной по меркам большинства политических партий организационной структурой. Со времен Карденаса партия была разделена на несколько иерархически устроенных секторов – трудовой, крестьянский и «народный» (в последний входили государственные служащие и представители среднего класса)¹⁵. Каждый из секторов охватывал – благодаря коллективному членству в *PRI* представляющих его профсоюзов и других общественных объединений – соответствующие социальные группы (номинально численность партии в 1980-х превышала 12 млн человек). Все сектора были представлены в партийном руководстве на общенациональном и местном уровне. Это позволяло режиму решать три взаимосвязанные задачи: 1) привлекать в сферу влияния «партии власти» максимально широкие слои населения, так чтобы она служила корпоративистским механизмом представительства интересов

различных групп, обеспечивая тем самым единство мексиканских элит¹⁶; 2) ограничивать влияние на *PRI* губернаторов и «касиков», способствуя большей централизации управления как партией, так и страной; 3) брать под контроль президента организационно раздробленный партийный аппарат, политическое влияние которого удавалось снижать благодаря внутрипартийной конкуренции (использование принципа «разделяй и властвуй»)¹⁷.

Опираясь на *PRI* мексиканский режим сохранял власть до 1990-х годов, когда череда экономических кризисов и неспособность «партии власти» к реформам привели к новым конфликтам элит и внутрипартийным расколам¹⁸, которые открыли пространство для политической конкуренции: оппозиция смогла одержать победу вначале на парламентских, а затем и на президентских выборах. В итоге в 2000-м, после семи с лишним десятилетий самого длительного в мировой истории господства некоммунистического режима с доминирующей партией, Мексика стала «нормальной» демократической страной с обычным набором проблем, присущих новым демократиям.

Дilemmы и вызовы для России

Нетрудно заметить, что ряд черт мексиканского режима эпохи *PRI*, таких, как контроль президента над «партией власти», государственный корпоративизм, стремление к централизации власти, относительно низкая репрессивность режима, слабая, подверженная манипуляциям и готовая к кооптации оппозиция¹⁹, отсутствие явно выраженной идеологии, во многом сходны с тенденциями политического развития сегодняшней России. Имеет ли шансы на реализацию в российских условиях мексиканская модель стабильности недемократического режима, основанная на господстве «партии власти»? Разумеется, любые суждения на этот счет

носят не более чем предварительный характер. И дело не только в том, что российская «партия власти» в лице «Единой России» еще не прошла даже минимальный тест на институционализацию, каковым можно считать успешное участие в трех циклах парламентских выборов подряд²⁰. Важнейшая проблема заключается в ином. Несмотря на успешные шаги по пути строительства «партии власти», предпринятые путинским режи-

политическая судьба Михаила Касьянова (так же как и ряда деятелей Мексиканской революции, включая Кальеса). Напротив, второй вариант, хотя и способный принести краткосрочные индивидуальные выгоды отдельным представителям элит (очевидными кандидатами на эту роль сегодня выступают «силовики»), обрекает российскую элиту на коллективные издержки долгосрочного плана (из-за неприспособленности пер-

“Несмотря на успешные шаги по пути строительства «партии власти», Кремль пока не сделал выбор в пользу одной из двух — недемократических — моделей”.

мом, Кремль пока не сделал стратегический выбор в пользу одной из двух — недемократических — моделей. Первая из них, в духе цитированного выше выступления Суркова, предполагает, что доминирующая партия («Единая Россия» либо иная «партия власти») служит главным «стержнем» режима, или, как было записано не так давно в советской конституции, «ядром политической системы общества». Вторая же основана на сохранении персоналистского господства главы государства, особенно если Путин останется (де-юре либо де-факто) первым лицом государства и после 2008 года. Во втором случае «партия власти», даже сохранившись, будет играть вспомогательную роль используемого *ad hoc* инструмента личной власти политических лидеров.

Данная дилемма не имеет решения, устраивающего весь российский правящий класс. Первый вариант сулит долгосрочные коллективные выгоды российским элитам в целом, но порождает немалые краткосрочные индивидуальные издержки. Выстраивание внутриэлитных взаимодействий в рамках доминирующей партии влечет за собой маргинализацию всех несогласных с ее «генеральной линией», примером чего может служить

соналистских режимов к поддержанию преемственности), да и краткосрочных индивидуальных потерь вряд ли удастся избежать. Они связаны с тем, что персоналистские режимы более репрессивны, нежели режимы с доминирующими партиями. Проще говоря, лидеры первых вынуждены время от времени для поддержания политической лояльности устраивать «чистки» элит, о чем свидетельствует не только советский опыт времен Сталина, но и практика правления ряда постсоветских лидеров — от Лукашенко до Туркменбashi²¹. Для Карденааса решение дилеммы в пользу доминирующей партии было вынужденным: без опоры на «партию власти» он не смог бы ни обеспечить собственное господство, ни преодолеть многочисленные кризисы, сотрясавшие Мексику²². Но в сегодняшней России Путин и его потенциальные преемники располагают куда более широким набором ресурсов, и поэтому для них «партия власти» отнюдь не выглядит вынужденным решением.

Как бы то ни было, можно ожидать, что думские выборы 2007-го станут критическим тестом для «Единой России». Если «партии власти» не удастся обеспечить по итогам выборов свое безусловное и устойчивое

преобладание в Государственной думе (пусть и несколько в меньшей мере, чем по итогам выборов 2003 года), строительство режима с доминирующей партией может оказаться под угрозой, а шансы персоналистской стратегии, напротив, возрастут. Иначе говоря, главными конкурентами «партии власти» на этих выборах будут не столько другие политические партии, вынужденные решать задачи своего политического выживания, сколько те сегменты российских элит, которые по разным причинам могут лишиться своих политических и/или экономических активов в случае достижения и удержания «Единой Россией» монополии на российском политическом рынке. Между тем успешное решение «проблемы-2007» выглядит далеко не очевидным: даже при крайне несправедливом проведении выборов сокрушительный успех на них «Единой России» вовсе не гарантирован²³. По меньшей мере, для его достижения необходимы (хотя и недостаточны) такие условия, как сохранение высоких цен на нефть и отказ от проведения в России либе-

сети явно или неявно связанных с ней молодежных организаций либо попытки вовлечения в интенсивно развивающиеся корпоративистские структуры представителей бизнеса или объединений «третьего сектора». Однако за этим фасадом скрываются глубокие содержательные различия. Если мексиканская «партия власти» стремилась к кооптации независимых и умеренно оппозиционных сил, то в России, напротив, речь идет о патронаже в отношении лояльных акторов и стигматизации нелояльных, о чем, например, свидетельствует создание Общественной палаты РФ²⁵. Помимо частных интересов участников данного процесса (связанных в том числе с получением клубных благ, с «распиливанием» бюджетов и пр.), особенностям российского корпоративизма обусловлены и другими причинами. В Мексике задача «партии власти» состояла в «умиротворении» сильных игроков на политическом поле (тех же профсоюзов), что предполагало и частичное удовлетворение их запросов. В России же социетальные акторы недостаточно сильны,

“Мексиканская «партия власти» стремилась к кооптации оппозиционных сил, в России же речь идет о стигматизации нелояльных акторов”.

ральных реформ²⁴. Но даже если «Единой России» и удастся достичь своих целей в ходе предстоящего цикла выборов (как думских, так и президентских), планы долгосрочного доминирования «партии власти» могут натолкнуться на новые вызовы, связанные с иными аспектами российской политики.

Прежде всего российская «партия власти», по крайней мере пока, не демонстрирует той способности включать в сферу своего влияния самые широкие слои общества, которая была присуща PRI. Формально в России наблюдаются сходные с Мексикой явления, такие, как создание вокруг «Единой России»

чтобы «партия власти» оказалась вынуждена считаться с их требованиями. А это, в свою очередь, приводит к очевидному дисбалансу в процессе принятия политических решений, когда вместо согласования интересов «партии власти» навязывает те или иные инновации. Очевидные неудачи монетизации льгот и других мер в сфере социальной политики – характерный пример такого рода односторонних шагов, которые в конечном итоге нанесли ущерб самой «партии власти»²⁶.

Другой вызов российской «партии власти» исходит из противоречия между ее стремлением сохранить сложившийся (благо-

приятный для нее) статус-кво и амбициозными планами правящих элит по модернизации страны. Если «партия власти» в Мексике 1930–1940-х (как и компартия в Советском Союзе в тот же период) решала задачу индустриализации прежде аграрной страны, то сегодняшняя повестка дня «Единой России» имеет с ней мало общего. Как бы ни относиться к «национальным проектам», кото-

рый способствует усилению недемократических режимов, написано уже немало²⁸. Но можно ожидать, что оно скорее благоприятствует персоналистским режимам, чем режимам с доминирующими партиями. Высокая концентрация ресурсной ренты и низкая степень зависимости режима от не связанных с углеводородами секторов экономики и общества ведут к тому, что потреб-

“Демократизация нынешнего российского режима рискует оказаться вынужденным решением при возникновении новых кризисов”.

рые активно продвигает Администрация Президента РФ, в том числе и с помощью «Единой России»²⁷, не стоит расценивать их лишь как предвыборный ход Кремля. По существу, программы реформ образования, здравоохранения и жилищной политики представляют собой масштабные инвестиции в человеческий капитал, которые действительно могут послужить двигателем российской модернизации. Проблема состоит в том, что эти инвестиции способны принести выгоду стране и ее элитам только в долгосрочной перспективе, в то время как «партия власти» нуждается в первую очередь в краткосрочных политических дивидендах, получаемых «здесь и сейчас». Это создает предпосылки для того, чтобы Кремль и «Единая Россия» превращали объективно полезные для них самих «национальные проекты» в очередную провальную кампанийщину, подобно тому как поступала КПСС во времена Хрущёва и Брежнева.

Кроме того, не следует забывать, что главным активом российского политического режима в обозримом будущем останутся энергоносители (мексиканский режим в гораздо меньшей мере зависел от этого фактора, хотя падение цен на нефть в 1980-е годы сыграло немалую роль в ослаблении позиций *PRI*). О том, что «нефтяное про-

чество» способствует усилению недемократических режимов, написано уже немало²⁸. Но можно ожидать, что оно скорее благоприятствует персоналистским режимам, чем режимам с доминирующими партиями. Высокая концентрация ресурсной ренты и низкая степень зависимости режима от не связанных с углеводородами секторов экономики и общества ведут к тому, что потреб-

ность элит в «партии власти» как политическом инструменте уменьшается, а лояльность обеспечивается с помощью иных инструментов, прежде всего популизма и селективного использования репрессивного аппарата. Об этом свидетельствует и недавний опыт Венесуэлы, где режим Чавеса, возникший после краха конкурентной партийной системы, носит чисто персоналистский характер²⁹.

Наконец, не стоит сбрасывать со счетов и роль внешнеполитического контекста в судьбе российской «партии власти». Немаловажным фактором выживания мексиканского режима стала американская поддержка: США были заинтересованы в стабильности на своих южных границах, и с этой точки зрения господство доминирующей партии их вполне устраивало³⁰. Казалось бы, по большому счету та же логика подходит и для России: стабильный недемократический режим в глазах многих американских и европейских политиков выглядит куда меньшим злом по сравнению с хаосом и непредсказуемостью, характерными для периода 1990-х³¹. Но разница состоит в том, что мексиканский режим не делал заявок на проведение внешнеполитического курса, представлявшего сколь-нибудь значимые проблемы для США (хотя, напри-

мер, поддерживал отношения с кубинским режимом Кастро вопреки американскому бойкоту), и уж тем более не претендовал на серьезное международное влияние. Внешнеполитические амбиции российских лидеров несоизмеримо обширнее, а стремление Кремля использовать энергетические ресурсы как средство своей международной политики в сочетании с систематическим противодействием странам Запада на огромном пространстве от Белоруссии до Ирана вызывают вполне понятное отторжение. Не вдаваясь в детали, можно с основанием утверждать, что такой курс способен затруднить международную легитимацию любого недемократического режима независимо от его природы. Но если в отношении персоналистских режимов речь идет о международном признании либо непризнании легитимности конкретного лидера (а не политического строя, как такового), то легитимность режима с доминирующей партией гораздо более уязвима. Конечно, международное влияние на внутриполитические процессы в России не стоит преувеличивать. Но надо иметь в виду, что западный истеблишмент был, есть и в обозримом будущем останется референтной группой для российских элит, которые не хотели бы приобрести в его глазах непоправимо одиозную репутацию. Об этом говорят среди прочего предпринимаемые Кремлем активные (хотя и малоэффективные) меры по «отмыванию» имиджа России на Западе. А в случае, если в России укоренится режим с доминирующей партией, трудно будет избежать слишком прозрачных параллелей с временами Советского Союза, возврат к которым выглядит явно нежелательным для Запада.

«Оба хуже», но «третий лишний»

Итак, провозглашенная задача обеспечить доминирование «партии власти» в длительной перспективе наталкивается на серьез-

ные препятствия, многие из которых имманентно присущи российскому политическому режиму. Вместе с тем персоналистская (неважно, во главе с Путиным или с кем-то другим) альтернатива режиму с доминирующей партией также выглядит малопривлекательной и сулит высокие риски российским элитам. Сопоставление двух возможных моделей недемократического режима в России заставляет вспомнить апокрифическую оценку Сталиным правого и левого уклонов в коммунистической партии: «оба хуже». Вопрос в том, насколько вероятны какие-то другие пути эволюции нынешнего российского режима.

Примечательно, что в многочисленных дискуссиях о будущем российской политики перспектива скорого становления в стране полноценной демократической конкуренции, предполагающей возможность поражения на выборах инкумбента или правящей партии³², не то чтобы оценивается как маловероятная, а просто не рассматривается всерьез. Между тем именно вероятность такого исхода и обозначает грань между «нетипичными демократиями» (в конце концов и в Швеции, и в Японии доминирующие партии теряли власть после поражений на выборах) и недемократическими режимами разных типов. Теоретически нельзя исключить того, что в конкурентной политической среде «партия власти» вполне могла бы стать одним из равноправных участников политического соревнования (именно так и произошло с PRI после 2000 года), хотя в российском случае шансы на ее политическое выживание в нынешнем виде были бы невелики³³. Однако сегодня трудно найти сколько-нибудь влиятельных акторов российской политики, не просто заинтересованных в такого рода эволюции политического режима, а способных к проведению в жизнь подобных преобразований. Иначе говоря, делая стихийный либо сознательный выбор между двумя вари-

антами недемократического режима, российский правящий класс ныне «по умолчанию» отвергает (или, по меньшей мере, откладывает «на потом») вариант демократизации режима как «третий лишний».

Было бы неправильно сводить причины такого выбора лишь к антидемократическим установкам, которые зачастую приписываются российским элитам в силу генезиса отдельных их представителей³⁴. Динамика политических режимов имеет собственную внутреннюю логику, не во всем зависящую от предпочтений политических акторов и во многом обусловленную предшествующим опытом. Проводя параллели с человеческим организмом, можно утверждать, что российский политический режим в последнем десятилетии XX века страдал многими тяжелыми «болезнями роста», часть которых была унаследована от советского периода и усугублена сопутствовавшей распаду СССР «родовой травмой». Однако лекарства, прописанные стране кремлевскими докторами в 2000-е, похоже, сами могут стать причиной длительных хронических заболеваний, любые консервативные способы лечения которых способны лишь ухудшить и без того нелегкое

состояние пациента. В сложившейся ситуации никто не отваживается на рискованную операцию (даже зная, что лишь она может поставить больного на ноги) до тех пор, пока не станет окончательно ясно, что в противном случае пациент не выживет. По аналогии разумно предположить, что демократизация нынешнего российского режима, вряд ли возможная на пути его эволюции в сторону либо персонализма, либо укрепления доминирующей партии, рискует оказаться вынужденным решением при возникновении новых кризисов, не исключено, более глубоких, чем любые другие в постсоветской истории. Лекарство в виде господства «партии власти» с большей вероятностью, чем персонализм, способно отсрочить такой кризис, но едва ли и оно в силах его предотвратить. Вопрос состоит скорее в том, не окажется ли демократизация страны безнадежно запоздальным рецептом выхода из кризиса и позволит ли она избежать самого тяжкого исхода. России слишком дорого обошлился десятилетия однопартийного режима, поэтому так важно, чтобы ее снова не возглавила «руководящая и направляющая» «партия власти». ■

ПРИМЕЧАНИЯ ¹ Текст выступления В. Суркова см.: www.edinros.ru/print.html?id=111148 (доступ 19 мая 2006).

² Здесь и далее под этим термином понимается политическая организация, созданная правящими группами с целью участия в выборах, сращенная с государственным аппаратом и односторонне использующая ресурсы государства для обеспечения своего доминирования.

³ Подробнее см.: Гельман В. От «бесформенного плюрализма» – к «доминирующей власти»? Трансформация российской партийной системы // Общественные науки и современность. 2006. № 1. С. 46–58; Hale H. E. Why Not Parties in Russia? Federalism, Democracy, and the State. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2006.

⁴ См.: Geddes B. Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in Comparative Politics. Ann Arbor, MI: Univ. of Michigan Press, 2003. P. 47–88.

⁵ См.: Uncommon Democracies: The One-Party Dominant Regimes / T. J. Pempel (ed.). Ithaca, N. Y.: Cornell Univ. Press, 1990.

⁶ См., например: Ворожейкина Т. Государство и общество в России и в Латинской Америке // Общественные науки и современность. 2001. № 6. С. 5–26; Gvosdev N. Mexico and Russia: Mirror Images? // Demokratizatsiya. 2002. Vol. 10. No. 4. P. 488–508.

⁷ Подробнее см.: Cornelius W. A. Nation Building, Participation, and Distribution: The Politics of Social Reform under Cardenas // Crisis, Choice, and

Change: Historical Studies of Political Development / G. Almond, S. Flanagan, R. Mundt (eds). Boston: Little, Brown, 1973. P. 392–498.

⁸ Подробные описания, в частности, см.: *Story D. The Mexican Ruling Party: Stability and Authority*. N. Y.: Praeger, 1986; *Cothran D. Political Stability and Democracy in Mexico: The “Perfect Dictatorship”?* Westport, CT: Praeger, 1994.

⁹ См.: *Story D.* Op. cit. P. 76–82; *Scott R. E. Mexican Government in Transition*. Urbana, IL: Univ. of Illinois Press, 1964. Ch. 5, 8, 9.

¹⁰ *Purcell S. K. Decision-Making in Authoritarian Regime: Theoretical Implications from a Mexican Case Study // World Politics*. 1973. Vol. 26. No. 1. P. 28–54.

¹¹ *Story D.* Op. cit. P. 30–41.

¹² Конечно, не обходилось и без издережек: избиратели приходили на неконкурентные выборы неохотно, и порой, чтобы повысить явку на голосование, в деревни завозили машины с обувью. Перед голосованием избирателям бесплатно раздавали ботинки на левую ногу, а тем, кто пришел на избирательный участок, давали еще и на правую.

¹³ См.: *Anderson B., Cockroft J. D. Cooption and Control in Mexican Politics // Intern J. of Comparative Sociology*. 1966. Vol. 7. No. 1. P. 11–28.

¹⁴ См., в частности: *Cothran D.* Op. cit. Ch. 5; *Story D.* Op. cit. P. 98–117.

¹⁵ Существовал также и военный сектор, позднее упраздненный.

¹⁶ См.: *Stevens E. P. Mexico’s PRI: The Institutionalization of Corporatism? // Authoritarianism and Corporatism in Latin America / J. M. Malloy (ed.)*. Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh Press, 1977. P. 227–258.

¹⁷ В Советском Союзе сходные цели преследовало разделение комитетов КПСС на промышленные и сельскохозяйственные, проведенное Хрущёвым в 1962 году и отмененное после его свержения с поста главы партии и государства.

¹⁸ См.: *Langstone J. Elite Ruptures: When Do Ruling Parties Split? // Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition / A. Schedler (ed.)*. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2006. P. 57–76.

¹⁹ Подробнее см.: *Гельман В. Политическая оппозиция в России: вымирающий вид? // Полис*. 2004. № 4. С. 52–69; *Wilson A. Virtual Politics: Faking Democracy in the Post-Soviet World*. New Haven, CT: Yale Univ. Press, 2005.

²⁰ В этой связи можно вспомнить, что мексиканская «партия власти» обрела название *PRI* лишь в 1946 году, когда при ее господстве прошло два полноценных цикла выборов президента страны.

²¹ Теоретические аргументы см., например: *Whintrobe R. The Political Economy of Dictatorship*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998.

²² См.: *Cornelius W. A. Op. cit.*

²³ Так, по данным массового опроса «Левада-центра», в апреле 2006 года за «Единую Россию» готовы были проголосовать 51 проц. респондентов, намеренных принять участие в голосовании и определившихся со своим выбором. См.: *Социально-политическая ситуация в России в апреле 2006 года* (<http://www.levada.ru/press/2006050502.html>) (доступ 19 мая 2006).

²⁴ Об этих проблемах см., в частности: *Рябов А. Пока не началось: от партии власти к правящей партии* (www.polit.ru/research/2006/02/10/ryabov_print.html) (доступ 19 мая 2006).

²⁵ Подробнее см.: *Петров Н. Общественная палата: для власти или для общества? // Pro et Contra*. 2006. Т. 10. № 1. С. 40–58.

²⁶ См.: *Рябов А. Указ. соч.*

²⁷ См.: *Сурков В. Указ. соч.*

²⁸ Сравнительный анализ см.: *Ross M. L. Does Oil Hinder Democracy? // World Politics*. 2001. Vol. 53. No. 3. P. 325–361; применительно к России см.: *Fish M. S. Democracy Derailed in Russia: The Failure of Open Politics*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005. Ch. 5.

²⁹ См.: *Кораллес Х. Диктатор нового типа // Pro et Contra*. 2006. Т. 10. № 1. С. 74–83.

³⁰ Подробнее о роли США в стабильности мексиканского режима см.: *Cothran D. Op. cit. Ch. 6*.

³¹ В этом сходятся оценки как сторонников, так и критиков нынешнего российского режима. См., например: *Sakwa R. Putin: Russia’s Choice*. L.: Routledge, 2004. Ch. 9; *Shevtsova L. Putin’s Russia*. Wash., DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2005 (2nd edition). Ch. 10.

³² «Демократия – это система, где партии проигрывают выборы» (*Przeworski A. Democracy and the Market: Political and Economic Reform in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1991. P. 10.).

³³ См.: *Рябов А. Указ. соч.*

³⁴ См., например: *Крыштановская О. Анатомия российской элиты*. М.: Захаров, 2005.

Государственный суверенитет в условиях глобализации

Что происходит с формальным государственным суверенитетом в контексте глобализации

АЛЕКСАНДР КУСТАРЁВ

Их самый мощный ресурс не казна, не население, не армия, а сам юридический суверенитет.
Стивен Краснер¹

Франция с ее 45 миллионами граждан не более суверенна, чем Лихтенштейн с его 13 тысячами.
Леопольд Коф²

Государство, как субъект международных отношений, находится в некоем общем правовом пространстве – глобальном или субглобальном, и это пространство, неуклонно развиваясь, становится все более стеснительным (в духе Гуго Гроция)³. Дело не только в том, что межгосударственные отношения регулируются нарастающим содержательным международным (позитивным) правом. Законодательства разных государств адаптируются к законодательству более высокой инстанции. Так, например, в странах Европейского союза уже свыше половины национальных законов порождены законами ЕС.

Неуклонно возрастает и взаимозависимость государств через общность глобальной инфраструктуры и среды обитания, через международное разделение труда. Складываются всеобщие инфраструктурные сети, унифицируются всеобщие нормы и стандарты в производстве и потреблении.

Интернационализируются финансовые и производственные фонды. Свободнее становятся потоки информации, товаров, капитала и людей, то есть государственные границы оказываются в возрастающей степени проницаемыми. В результате этих перемен создается впечатление о прогрессирующем пустоте и эфемерности государственно-го суверенитета.

Вообще говоря, такого рода подозрения зародились почти тотчас, как понятия «суверенитет» и «государство» утвердились в качестве базовых в политическом сознании, мировой политике и дипломатической практике. Первая (как будто бы) работа с характерным названием «Расцвет и закат территориального государства»⁴ относится к 1957-му, то есть к моменту, когда еще не высохли чернила на подписанных в Ялте и Потсдаме соглашениях, самых «государственно-центричных» со времен Вестфальского мира 1648 года.

Одновременно нарастало влияние некоторых версий нормативной политической теории, объявляющих саму концепцию «государства как суверена» избыточным и даже вредоносным продуктом антропоморфизма и конструктивизма (точка зрения, например Фридриха фон Хайека)⁵ или идеологемой тех, кто узурпировал власть (как считали анархисты, часть марксистов, постмодернисты в духе Мишеля Фуко).

Но почти сразу же возникла и контртенденция. О живучести и возрождении государства и суверенитета сказано не меньше, если не больше, чем об их исторической смерти. Соответственно защитники их инструментальности как для практики международных отношений, так и для понимания этой практики по-прежнему остаются в большинстве. Нам напоминают, что усиление взаимозависимости никак не устраниет суверенитет субъектов сосуществования. Тем самым в новых условиях не столько упраздняется государство, сколько меняется государственный *raison d'être*. Идея суверенитета, может быть, и утратила свои революционно-характеристические качества, но из нее уже родилась традиция, а значит, принцип суверенитета продолжает эмпирически существовать «как наследие и результат прошлого» (Жерар Мерэ)⁶.

Резоны суверенитета

Из сказанного выше следует, что идеальная и материальная инерция существования государственного суверенитета весьма велика. Признано, что управляемая организация («машина»), выработанная государственной практикой, высокоэффективна, а формально-юридический статус подобной организации как агента суверенитета инструментален в действующей системе глобальной самоорганизации, равно как и для его обладателя. Юридический суверенитет функционален в качестве «определителя субъекта» с его пра-

вами и обязанностями в системе международных отношений. Иными словами, суверенитет — имманентное свойство субъектности.

Даже если считать международные отношения, по существу, силовыми, они предполагают наличие множества субъектов силы, и, не будь эти силы юридически обособлены, единственный (в идеале) суверен мирового сообщества имел бы дело с перманентной гражданской войной, когда все очаги сопротивления («бунта», «смуты») суверену автоматически определялись бы как «подрывные» и «преступные», с которыми, как говорится, «переговоры невозможны». А юридический суверенитет фиксирует правовые субъекты, с которыми «переговоры возможны». Эта система предполагает, что нет такого участка на Земле, за который кто-то не нес бы ответственности (*nulle terre sans seigneur*).

Классические реалисты (какими были старые немецкие и английские геополитики вплоть до Моргентау) могли думать, что отношения между государствами — чисто силовые. Крайние либералы (доктринально понимающие мироустроительный проект Канта или президента Вильсона) могли считать, что в основе всего лежит сотрудничество суверенных субъектов, а силовые действия — это нежелательное отклонение от нормы, и только. Но нереалисты и неолибералы сходятся во мнении, что сила и право в международных отношениях не исключают, а корректируют и модифицируют друг друга⁷. Более того, они согласны не только с тем, что это фактически так. Они согласны и с тем, что так должно быть.

И сильному, и слабому приходится расчитывать, во что ему обойдется нарушение чужого или защита своего суверенитета при возникновении конфликтной ситуации. Это весьма сложные расчеты. А если речь идет о суверенитете, в котором заинтересовано третье лицо, то такого рода калькуляции становятся еще сложнее. Схема

выглядит так: если Урбания хочет оккупировать Руританию, то она должна подумать о том, что по этому поводу скажет Капитания. Мы не так давно видели, как схожая схема работала в случае карательного похода на режим Саддама Хусейна. Самый свежий пример, дающий представление о такой сложности, — отношения в треугольнике США — Иран — Россия по вопросу о ядерной про-

становятся всё более рискованными и дорогостоящими, возрастает значение рационального расчета в использовании суверенитета, и все суверены, рано или поздно осознав силу этого фактора, начинают двигаться в сторону *рационализации* своих отношений друг с другом.

В ходе подобной *рационализации* суверенитет, как может показаться, выхолащивает-

“Все суверенитеты оказываются заложниками друг друга, и мировое сообщество как совокупность суверенитетов обретает значительную инерционность”.

граммой Ирана. Вправе ли Вашингтон рассчитывать на поддержку России в оказании давления на Иран, если он сам поощряет дрейф бывших советских республик от Москвы к Брюсселю и НАТО? ⁸.

Дипломат-реалист, действуя с позиции силы, среди прочих рисков должен учитывать также и риск, связанный с нарушением права и недовольством, которое может вызвать его поведение. Дипломат-либерал, наоборот, должен принимать в расчет риск, связанный с соблюдением права. Так или иначе, все суверенитеты оказываются заложниками друг друга, и мировое сообщество как совокупность суверенитетов обретает значительную инерционность или, если угодно, становится ловушкой. Эта ловушка имеет даже физиономию в виде ООН.

Существование Организации Объединенных Наций институционализирует сложившуюся ситуацию. Суверенные государства имеют в ООН право голоса в решениях глобального значения. И хотя принимаемые здесь общим голосованием резолюции обладают очень слабой либо даже не обладают вообще никакой процедурно-обязывающей силой, влияние таких голосований на мировую политику весьма заметно ⁹.

Поскольку со временем силовые действия одних суверенных государств против других

сия, но это только иллюзия: никакая рационализация немыслима без участия *рационализующего агента*. Система не просто готова признать суверенность своих участников — она остро в этом нуждается. В системе международных отношений в данной роли исторически утвердились государство. И совсем не потому, что оно лучше других возможных агентов, — это как раз не так уж и бесспорно. Дело скорее в установленной традиции, которая есть не менее серьезное основание любого порядка, включая и мировой.

Суверенитет как право и ресурс

Государственный суверенитет обладает свойствами исключительного и неотъемлемого *права* (привилегии), а также *ресурса*. Как право суверенитет — это функция, которую государство может использовать только целиком. В данном качестве он неделим: либо суверенитет есть, либо его нет. Несуверенное государство — это нонсенс, поэтому либо государство суверенно, либо государства нет. Как ресурс суверенитет представляет собой набор прерогатив, которыми государство может манипулировать по отдельности. Таким образом, технически *государственный суверенитет* (как целое) есть свобода государства манипулировать своим суверенитетом (как «корзиной» прерогатив) ¹⁰.

Будучи владельцем суверенитета, государство проводит политику самоопределения. Подобная политика ставит конкретные цели в нескольких сферах, таких, как:

- безопасность,
- самобытность,
- самодостаточность,
- консолидированность,
- экономическая эффективность.

Сфера политики самоопределения соотносится друг с другом совсем не просто.

От стратегии в каждой из них зависит выполнение задачи, поставленной в любой другой. В то же время цели государства в разных сферах не вполне совместимы. Они могут даже исключать друг друга. Оттого на практике приходится искать формулу их приемлемой совместимости, предполагающую определенную меру и особый характер безопасности, самобытности, самодостаточности, консолидированности и экономической эффективности.

Юридический суверенитет играет разную роль в обеспечении целей государства в каждой из этих сфер политики самоопределения. В любой из них государство манипулирует суверенитетом в трех своих статусах: а) субъекта международного права; б) верховного авторитета в государственных границах; в) хозяйствующего субъекта.

В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ юридический суверенитет защищает государство от силового вторжения извне, нацеленного на его ликвидацию или расчленение, то есть, в сущности, на уничтожение его суверенитета. В прошлом, когда война считалась «продолжением политики другими средствами» и практиковалась рутинно, нарушение государственного суверенитета было легитимно (что и явились, кстати, питательной средой для политической философии макиавеллистского стиля).

Теперь агрессия нелегитимна и менее вероятна. Юридический суверенитет пре-

вратился из объекта защиты в гарант безопасности от угрозы извне. В этой роли он функционарен как право государства. Путь к такому положению дел был долг и тернист. Движению в данном направлении очень помогли пацифизм и интенсивная коммерциализация всех сторон жизни. Большой вклад в эту традицию внесла эпоха холодной войны с ее ядерным сдерживанием. И хотя результат такой эволюции трудно считать совершенным, но характер межгосударственных отношений изменился радикально по сравнению с тем, что было сто лет назад — до Первой мировой войны.

О реальности, а не иллюзорности юридического суверенитета свидетельствует существование так называемых «неудавшихся государств» (*failed states*). Их теперь много (от одного до нескольких десятков — в зависимости от критерииев). Никто не изъявляет желания взять на себя их суверенитет. Эти государства оставляют пребывать в хаотическом состоянии (*state of nature* Гоббса), поскольку вмешательство в их внутренние дела было бы «нарушением суверенитета». Ясно, что государственный суверенитет — тяжелое бремя. И даже не вполне понятно, кто больше заинтересован в суверенных государствах как базовом структурном компоненте мирового политического пространства: то ли малые государства, то ли их более geopolitически мощные партнеры и вся система в целом, то ли мировой финансовый капитал¹¹.

Впрочем, достижения в этой сфере могут быть обессмыслены. Внешняя угроза безопасности государства ныне исходит скорее не от других государств, а от агентуры, не считающейся ни с какими конвенциями вообще. Это — международный и сепаратистский терроризм, частные армии, торговцы оружием. В данный список можно включить и ТНК, во всяком случае если иметь в виду «конспиративный» элемент их деятельности. В таких условиях приходится пере-

определять само понятие безопасности. Речь теперь должна идти о безопасности не государства, а его граждан.

Международный терроризм не угрожает суверенитету. Но суверенитет, как право государства, от него и не защищает. Проблема безопасности выходит из контекста межгосударственных отношений. Поэтому возрастает значение суверенитета как ресурса, которым можно манипулировать. В частности, заключать союзы. Военно-политические союзы, конечно, широко практиковались и раньше. Но теперь эта практика приобретает решающее значение для суверенных государств. В конечном счете таким союзом можно считать и ООН.

Международный терроризм провоцирует государство (в его статусе верховного авторитета с монопольным правом на легитимное применение силы) на усиленное манипулирование своим суверенитетом. Здесь как будто бы у государства нет выбора. Никто

такой выбор не так уж просто. Тем не менее в этой сфере политики самоопределения цель более однозначна, чем во всех остальных: требуется максимально возможная безопасность.

В СФЕРЕ САМОБЫТНОСТИ политика самоопределения предполагает, что суверенное государство как «политическое сообщество» (*«political community»* – так предпочитает его называть Фрэнсис Хинсли в своей классической работе¹³) выбирает свою политию, или конституцию, совершая, по выражению Карла Шмитта, «экзистенциальный выбор», либо, как это происходит в более позднюю эпоху, следуя некоторой сложившейся нормативной традиции. Иными словами, как верховный авторитет оно *стилизует себя* определенным образом, например как либеральную демократию, патrimonиальную монархию или анархический кооператив. Международному сообществу это безразлично. Официально оно требует от всех своих

“Несуверенное государство — это нонсенс, поэтому либо государство суверенно, либо государства нет”.

не предпочтет «опасность», и поэтому речь может идти только об усилении полицейской функции государства. Впрочем, безопасность не такая уж абсолютная ценность, ради которой кто угодно готов пожертвовать чем угодно. В условиях нарастающего международного террора выбор между правами человека (включая право на приватность) и безопасностью граждан встает особенно остро перед государствами с наиболее укорененной либеральной традицией, где «гражданские свободы» не просто функциональны, а представляют собой экзистенциальную ценность, то есть имеют глубинную связь с национальной самоидентификацией. Как показывает недавний опыт в области антитеррористического законодательства и его применения в Великобритании¹² и США, сделать

участников лишь легитимности порядка. Но независимо от того, лицемерны эти требования или нет¹⁴, легитимность какой-либо политии трудно установима и на практике приходится считать решающим признаком легитимности власти либо ее длительную стабильность, либо ее собственные утверждения, что она, дескать, легитимна. И то и другое не вполне корректно. Стабильность может достигаться и нелегитимным насилием, а конституция – существовать только на бумаге. И теоретики, и практики прекрасно знают это. Тем не менее международное сообщество по ряду соображений¹⁵ вынуждено прибегать к весьма попустительской трактовке легитимности государств.

Последнее время навязываются более пристрастное отношение и радикаль-

ные санкции (вплоть до интервенции) к режимам, чья легитимность сомнительна. Вторжение в Ирак было следствием такой перемены в настроениях и пробным шаром, но станет ли новая доктрина, названная «экспортом демократии», влиятельной и инструментальной, пока что совсем не ясно. Ее авторитет неизбежно ослабляется всегдашними подозрениями, что ссылки на желание восстановить легитимность власти в той или иной стране на самом деле прикрывают чьи-то geopolитические интересы¹⁶. Будь то поход Москвы на Чехословакию (1968) или поход Вашингтона на Ирак (2003). Не говоря уже о том, что могут возникнуть сильные сомнения в легитимности режима, который будет поставлен на место того, что был заклеймен как нелегитимный. Таким образом, юридический суверенитет в данном случае означает, что политической самобытности государства ничто не грозит извне, со стороны других государств и мирового сообщества.

Помимо государственного строя, самобытность государства – это особое культурное наследие, «общая память» или, если угодно, «нarrатив», а также фольклор. Суверенное государство может быть в разной мере озабочено сохранением особого нарратива (либо их суммы в случае мультикультуры). Оно может этим вовсе не быть озабочено, предоставляя «нarrативу» защищать себя самому, а может, наоборот, тратить немалые силы и средства на его сохранение. Но от юридического суверенитета тут мало проку. Сопротивление «культурному империализму» – дело самих культур (гражданских обществ), а не государств. Стойкие культуры держатся без всякой государственной помощи. А слабые все равно теряют свое влияние. Впрочем, как ресурс для развития туризма, культурное наследие – это капитал, и государство может захотеть использовать этот капитал наряду со всеми другими совладель-

цами. Особенно малое государство – от Сан-Марино до Латвии.

СФЕРА САМОДОСТАТОЧНОСТИ отчасти заполняется проблематикой культурной самобытности, но главное здесь – экономическая самодостаточность. Юридический суверенитет допускает выбор в пользу полной самодостаточности, то есть изоляции от внешнего мира, однако такой выбор должен опираться на очень сильные ценностно-моральные основания и требует высочайшей степени единства гражданского общества. Помимо того, он требует колossalной целеустремленности (политической воли), поскольку любое государство подвержено воздействиям и влияниям, для противодействия которым нужны эффективные барьеры.

На практике в этой сфере юридический суверенитет становится значимым ресурсом, если сделан противоположный самодостаточности или хотя бы компромиссный выбор. Суверенитет в данном случае становится очень важным инструментом, поскольку именно он дает право на участие в любых межгосударственных, надгосударственных совместных институтах и практиках – от картелизации (типа ОПЕК) до участия в товарных ярмарках, спортивных и культурных фестивалях.

СТЕПЕНЬ И СПОСОБ (ФОРМУЛА) КОНСОЛИДАЦИИ ГОСУДАРСТВА как общества тоже представляют собой аспект его самобытности (традиции). Юридический суверенитет весьма надежно защищает возможности государства-общества выбирать ту или иную политику самоопределения в этой сфере, включая крайнюю централизацию (унитарность, национализация). Сегодня отношение мирового дипломатического истеблишмента к разного рода сепаратизмам и самопровозглашенным государствам остается еще крайне неблагожелательным. Право юридически полноценных (признанных) государств на сохранение своей целостности имеет безуслов-

ный приоритет. Это сейчас, пожалуй, самая консервативная часть дипломатической практики. Но она испытывает сильное давление, и есть основания думать, что мировой консенсус в этой области рано или поздно сдвинется в более либеральном направлении. Расчленение Югославии может оказаться влиятельным прецедентом, особенно если оно завершится независимостью Косово.

Но, реализуя свой суверенитет, государство выбирает между разными степенями централизации-децентрализации: оно демонстрирует свою готовность либо неготовность к территориальному демонтажу вплоть до самороспуска и предоставляет либо не предоставляет разную меру свободы своим частям и компонентам – территориальным, культурным, хозяйственным. Манипулирование суверенитетом в данном случае возможно в широких пределах. Территориальные и культурные автономии становятся партнерами государства в манипулировании суверенитетом как верховным авторитетом. Хозяйствующие субъекты, распоряжаясь экономическими ресурсами, тоже становятся партнерами государства или как верховного авторитета, или как хозяйствующего субъекта *sui generis*.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ – это сравнительно новая сфера политики самоопределения. Существующие ныне государства возникли разными путями, и меньше всего из соображений экономической эффективности. Строители ранних государств модерна не были совсем чужды мотивам выгоды, но их экономическая логика поначалу представляла собой просто логику грабежа и аннексии, а меркантилизм был скорее ее более утонченным вариантом, нежели логикой современного капитализма. К тому же, и это особенно важно, раннее государство с сильными реликтами патримониализма не отождествляло себя с гражданским обществом.

Те, кто создавал постколониальные государства (которых в мире подавляющее большинство), совершенно не задумывались об их экономической эффективности. Метрополии, раздавая суверенитет своим владениям, даже, пожалуй, предпочитали, чтобы новые государства были неэффективны. Политический класс новых (как и владельческие государи ранних классических) государств думал только о собственном обогащении, отождествляя себя с государством или нет.

Так обстояло дело в прошлом. В будущем же возможны демократические государства «неэкономической ориентации», предпочитающие иные ценности конвенциональному материальному (экономическому) процветанию. Такие общины всегда существовали, существуют и ныне. В современном мире они, как правило, не имеют государственного статуса и чаще всего усиленно подчеркивают свою религиозную либо морально-ценостную, а не политическую сущность, однако совершенно необязательно, что так будет всегда¹⁷. Соединенные Штаты возникли из роя таких общин. Революционные государства XX века с коммунистическим оттенком оказались нежизнеспособны, но, как прецедент, они напоминают нам о такой возможности; вряд ли история тут сказала свое последнее слово. Коммунизм как «экзистенциальный выбор» возможен, но именно (и только) «в одной отдельно взятой стране». И чем меньше страна, тем это возможней.

И все же в обозримой исторической перспективе такая разновидность государства останется на периферии мировой системы. Преобладающий ныне тип государства озабочен прежде всего тем, чтобы обеспечить себе (как гражданской нации) достойное место в мировом хозяйстве, по нескольким причинам: по причине того, что эта ценность стала надолго, если не навсегда доминирующей в ядре мирового морально-культурного сообщества.

щества, а также потому, что механизм конкуренции неблагоприятен для тех, кто от нее уклоняется, тем самым делая уклоняющихся беднее, чем они планировали. Но еще и потому, что процветание лучше, чем что-либо другое, обеспечивает цели, поставленные себе государством в других сферах – самобытности, участия в мировой жизни, целостности и безопасности. Короче говоря, система тре-

ния тенденции к либерализации энергетического рынка возник сильный рецидив монополизации при участии государства – а в Латинской Америке (Уругвай, Боливия) даже ренационализации – энергетики.

Пока не вполне ясно, насколькоrationally такоебеспокойство.ЧтоЭименно и при каких обстоятельствах подвигнет тех, у кого больше контроля над энергоресурса-

“Государство, в особенности демократическое суверенное, неуклонно превращается в капиталистически хозяйствующий субъект *par excellence*”.

бует установки на обогащение; это – *системный вызов*, и отвечать на него надо, пока существует сама система. На рынке как на рынке. Точно так же, как: на войне как на войне. Государство, в особенности демократическое суверенное, неуклонно превращается в капиталистически хозяйствующий субъект *par excellence* независимо от меры «социализированности» своего гражданского общества. А за ним следуют государства с самым разным политическим строем вплоть до патrimonиальной монархии (Дубай).

Трансформирующий потенциал экономической эффективности

Превращение экономического процветания в ведущую сферу политики самоопределения оказывается на политике во всех других сферах, хотя в разной мере и по-разному.

В сфере безопасности это ведет к переопределению самой этой сферы. Экономическая интеграция сопровождается специализацией, и каждое государство в таких условиях может лишиться собственного производства и запасов базовых ресурсов жизнеобеспечения. Неравномерность размещения энергетических ресурсов и угроза их дефицита усугубляют проблему. В Европе в связи с этим возникло напряжение между Евросоюзом и Россией. После преоблада-

ми, лишить других доступа к ним, не очень понятно. Дефицит, конечно, всегда чреват войной, и футурологическая фильмография полна изображений таких войн, но это обычно экстраполяция в будущее пока что изжитого прошлого.

В сфере самобытности могут иметь место серьезные конституционные последствия. Ведь политическое устройство в данном случае становится организационной структурой предприятия и может оказаться недееспособным. Популярно представление, что экономической успешности адекватен либерально-демократический строй. Но это совсем не обязательно так. В каждом отдельном случае может оказаться экономически эффективной самая причудливая организационная структура, *alias* политический строй. Конституционная самобытность суверенных государств сохранится, хотя и на иных основаниях, чем раньше. А конституционное разнообразие, скорее всего, возрастет.

В сфере самодостаточности/участия ориентация на экономическую состоятельность фактически лишает государство свободы выбора. Процветание без включенности в обменные потоки в действительности невозможно. На первый взгляд это совершенно обесценивает юридический суверенитет. Но в такой точке зрения как раз таит-

ся опасное заблуждение, происходящее от привычки обыденного политического сознания, склонного к национализму, отождествлять суверенитет с изоляцией. На самом же деле суверенитет еще более инструментален для выхода из изоляции и максимального участия государства во всемирных практиках. Глобализация резко увеличивает инструментальность суверенитета. Она лишь предъявляет повышенные требования к качеству профессиональной политики.

“Опасное заблуждение, происходящее от политического сознания, склонного к национализму, — отождествлять суверенитет с изоляцией”.

Государство, ориентированное на такое «активное участие», предлагается именовать «катализитическим». Один из энтузиастов этого понятия, Линда Вайсс, характеризует его так: «Для достижения своих целей [государство] не столько рассчитывает на свои ресурсы, сколько пытается занять доминирующее положение в коалициях государств, транснациональных институтов и частно-владельческих групп», с тем чтобы «усилить свое влияние над средой своего существования»¹⁸.

Установка на экономическое процветание обостряет противоречие между целями в сфере самодостаточности и в сфере безопасности. Для поиска компромисса тоже требуется маневрирование с использованием суверенитета.

То же относится и к политике в сфере консолидации. Юридический суверенитет государства, ориентированного на экономическое процветание, подвергается серьезному испытанию, поскольку проблематизируется монолитность государства. Экономический успех может быть благоприятен для консолидации гражданского общества. Но часто, наоборот, он приводит к углублению имущественного неравенства, а если богатство

и бедность территориально локализованы, то это уже почти полная гарантия распада. При этом становится все менее понятно, кто больше заинтересован в отделении — бедные или богатые области государства. Еще полвека назад главными агентами сепаратизмов были угнетенные меньшинства. Теперь ими становятся наиболее процветающие местности, не желающие делиться своим процветанием (Ломбардия в Италии, Каталония в Испании, Пенджаб в Индии).

Политика в сфере консолидации экономически значима и сама по себе.

Централизованный режим рискует эскалацией — вплоть до военных действий — конфликта в обществе (по принципу «порочного круга», как было в Чечне), что само по себе имеет свою цену. А лишая экономических агентов возможности самим определять свою рыночную стратегию, он попросту сдерживает обновление и рост благосостояния. В целом ориентация государства на экономический успех требует экономической либерализации и конституционной децентрализации. Нужна оптимальная формула «разделения суверенитета» с другими претендентами на него и, стало быть, крайне осторожное манипулирование суверенитетом.

Метаморфозы государства как администрации общества

Итак, приоритет экономического процветания в политике самоопределения суверенного государства преобразует эту политику во всех других сферах. Цели, намечаемые в каждой из них, приобретают новое значение. Само понимание безопасности и способы ее обеспечения, политическое устрой-

ство, культура государства как организация и форма коллективного существования общества, мера централизации, мера изоляции выбираются с таким расчетом, чтобы обеспечить эффективность суверенного государства как агента в мировом экономическом пространстве.

Но это еще не всё. Ориентируясь на выполнение экономических задач, государство вынуждено не только соответствующим образом артикулировать свой национальный интерес, но и манипулировать своими техническими *прерогативами* в роли *высшей администрации общества*. Государство выбирает себе прерогативы, разделяет их с партнерами, делегирует их или отдает в подряд. Оно выбирает себе партнеров по манипулированию прерогативами: другие государства, субнации, города, частные фирмы.

Суверенитет не предполагает обязательного набора и объема прерогатив. У государства нет «естественных» функций, поскольку само государство – это конструкт. Прерогативы суверенного государства историчны. Они меняются в ходе разрастания и

ственний суверенитет, коль скоро он сводился к сохранению целостности и безопасности. Очень важно помнить, что такое понимание «суверенности» (независимости) возникло в условиях, когда государств было мало и их сила была сопоставима (во всяком случае, так им казалось). В современных условиях, когда государств много и все они, кроме двух-трех, а то и одного, слабы, эта логика потеряла всякий смысл. Вероятность аннексий и территориальных поглощений в современных условиях почти равна нулю, а если бы она была возможна, то для подавляющего большинства существующих государств сопротивление все равно бесполезно. В тех же случаях, когда оно небесполезно, становится бесполезной захватническая агрессия.

Давно ли важнейшей прерогативой суверенного государства была консервация своей территориальности? Теперь, похоже, эта прерогатива уходит в прошлое. Манипулирование территорией сдерживалось не юридически, а идеологически, то есть культом «родной земли», «родины», но этот фактор становится все слабее, по мере

“Такие прерогативы государства, как поддержание военного потенциала и охрана территории, стали терять свое значение с концом холодной войны”.

изменения материальной базы общества и его жизненных функций. Меняются они и с изменением доктринального аспекта политики самоопределения, а также конъюнктурного изменения ее приоритетов и целей.

Классические современные государства возникли в результате войн, и война (оборона) долго оставалась их существом и главной прерогативой. Причина этого была проста. Считалось, и не без оснований, что существование, а тем более целостность и безопасность государства могут быть обеспечены только военной силой. Иными словами, только военная сила гарантировала государ-

того как ослабляется националистический *Zeitgeist* и усиливаются рациональные соображения. Показательно, что авторитарные правители чувствовали себя в этом отношении свободнее, чем демократические нации. Наполеон продал США Луизиану. Александр II – Аляску. Хрущёв отдал Украине Крым. ТERRITORIALНЫЙ суверенитет, вообще говоря, никогда не претендовал на доктринальную неотчуждаемость территории. Он всего лишь означал право на распоряжение территорией, а это предполагает продажу, переуступку, сдачу в аренду, хотя также и сохранение за собой.

Территория, конечно, имеет не только «символическую» ценность. Это ведь еще и имущество: теперь прежде всего недра. Но контроль над недрами можно легко потерять при сохранении титула на территорию и, наоборот, вполне можно сохранить при утрате титула. В терминах Джона Ругги система управления вовсе не предполагает, что территория ее юрисдикции должна быть непременно пространственно «отдельной» (*disjoint*), «неизменной» (*fixed*) и находится в «исключительном владении» (*mutual exclusion*). Ругги называет это «демонтированием (*unbundling*) территориальности», или триединства «государство – власть (*power*) – территория»¹⁹.

Такие классические прерогативы государства, как поддержание военного потенциала и охрана территории (границ), стали стремительно терять свое значение с концом холодной войны. Еще до того их относительный вес падал за счет нарастания экономических функций государства, но и экономические функции к исходу XX века оказались не вечными. Ныне падает и их значимость для государства и, уж конечно, меняется их набор.

“Рост числа суверенных государств возвращает мир к исходной анархии, которая в тенденции будет деградировать в Гоббово «природное состояние»”.

К середине XX столетия среди теоретиков политической философии социал-демократического толка почти не было сомнений, что, национализируя производственные фонды (по меньшей мере некоторые), государство тем самым «развертывает» существование своего суверенитета. В Советском Союзе эта доктрина была доведена до полного абсурда, но ее влияние в Западной Европе было тоже значительным. При таких представлениях любая иностранная собственность на территории государства и во всяком слу-

чае ее массированное присутствие выглядели как ущерб суверенитету. Теперь во многих странах (даже в такой, как Бельгия) чуть ли не все производственные фонды находятся в собственности иностранцев и ТНК, что отнюдь не лишает эти государства суверенитета, коль скоро они участвуют в определении условий, на которых осуществляется сделка и функционирует капитал, или продолжают получать свою (оговоренную) долю от эксплуатации такой собственности²⁰.

Государство как организация, воплощающая волю национально-гражданской общности, труднее расстается с прерогативой распорядителя бюджета и велфэра (социального обеспечения). Эта прерогатива государства исторически самая поздняя и уже поэто-му, вероятно, продержится дольше, чем военно-оборонная или владетельная. Но и она не вечна: процесс демонтажа общегосударственной «социалки» уже заметно продвинулся вперед, хотя не исключено, что вслед за этим появятся новые формы социального государства.

Сравнительно недавно функцией суверенного государства стала макроэкономическая политика. Она, вероятно, и останется

надолго главной прерогативой государства. Но содержание этой прерогативы (набор ее компонентов) меняется. Государство проводило политику доходов – больше не проводит. Государство держало в своих руках денежную политику – теперь оно уступило ее центральному банку. Некоторые государства отказались от валютной политики в пользу других валют (долларизация Эквадора, например) или в пользу валютного союза (евро). Вместе с тем в ходу множество замаскированных валют, и некоторые

из них не имеют прямого отношения к государствам. Налоговая политика смешается (хотя пока не слишком заметно и быстро) от государств к их автономным составляющим (самый недавний пример – расширение компетенции Каталонии). И так далее...

Нация как трудовой ресурс и акционерное общество

Перемены в том, что касается прерогатив государства, непрерывны, направлены в разные стороны, экспериментальны. Но общий их вектор можно суммировать так: государство меняет свои прерогативы или корректирует их исполнение, преобразуя свою экономическую политику из политики *роста и перераспределения доходов* в «штандортную» политику. (Немецкое слово *Standort* – «штандорт» – буквально означает «место размещения», а по существу, государство-«штандорт» понимается как среда для бизнеса, как «бизнес-площадка» или территориально-функциональный комплекс.) Как хозяйствующий субъект государство должно быть способно к эффективной «штандортной» политике. Кое-кто в этой связи уже готов переосмыслить миссию государства: дескать, ему теперь нужен не столько суверенитет, сколько компетентность²¹.

Это на деле означает конвертирование *нации в трудовой ресурс и акционерное общество, страны – в «штандорт», а государства как управителя «штандортом» – в экономическое предприятие par excellence*, в экономическую корпорацию, в компанию, в трест, в фирму. Это глубокая метаморфоза, хотя она пока находится на ранней стадии и замаскирована. Конвертирование государства в «штандорт-предприятие», ориентированное на доход, чревато серьезными последствиями для структуры и конфигурации мирового сообщества.

Во-первых, ставится под вопрос нынешняя монополия государства на юридиче-

скую субъектность в системе международных отношений.

Во-вторых, возникает вопрос о жизнеспособности существующих ныне государств и открывается перспектива нового передела мира.

ТНК, пожалуй, самый серьезный прямой конкурент государства на данный момент. В реальной geopolитике роль ТНК очень велика; возможно, что она даже больше, чем роль государств. Но получат ли когда-нибудь ТНК международный статус, аналогичный статусу государства? Недавняя попытка сделать шаг в сторону международно-правовой эманципации ТНК исходила от них самих. Это была инициатива *MAI (Multilateral Agreement on Investment)*, смысл которой, в сущности, состоял в том, чтобы кодифицировать права иностранных (транснациональных) инвесторов в тех государствах, где они инвестируют. Пока данная инициатива потерпела неудачу. Вызов ТНК государству – вызов рынка обществу. Фактическое конвертирование государства в фирму на мировом рынке выводит проблему отношений между этими двумя акторами на совсем иной уровень.

Другой конкурент государства – неправительственные организации (НПО). Они выступают в системе международных отношений в роли глобальных групп давления и почти наверняка сохранят этот статус в дальнейшем. НПО перспективны скорее как прообразы политических партий во «всемирной демократии», если считать, что таковая складывается. Их вызов государству – это вызов принципа партийности принципу национальности в глобальном масштабе. Но и тут не все так просто, как может показаться. Морально-идеологические движения имеют некоторую склонность к территориальной локализации и могут при определенных обстоятельствах претендовать на суверенитет. Инициатива Кофи Аннана (1999) под названием «Глобальное соглашение» (*Global*

Compact), создавшая некую рамку для совещательного сотрудничества между самой ООН, бизнесом и морально-ценностными движениями, возможно, представляет собой первый шаг к дипломатической эмансиpации негосударственных агентов, но как далеко зайдет эта эмансиpация и как будет выглядеть модус сосуществования всех трех агентур, пока сказать трудно.

Другая сторона дела заключается в том, что в новых условиях обостряется проблема оптимального размера государств. Она всегда тлела на периферии, но теперь как будто бы выходит на авансцену²².

Для экономического же предприятия эта проблема всегда была центральной. Предприятие стремится найти свой оптимальный размер. Либо рационально планируя свою стратегию (согласно одной тео-

Идет демонтаж крупногабаритных (по населению и/или территории) и в силу этого трудно управляемых из центра государств. Первыми на этот путь ступили имперские метрополии эпохи модерна, обнажившие к середине XX века, что им грозит именно экономическое банкротство. Они распустили империи. По той же причине (хотя и гораздо слабее отрефлексированной самим государством) распался СССР независимо от того, считать его империей или нет. Вероятность продолжения подобной стратегии «самороспуска» существенно больше нуля. Тем более что центробежные силы действуют не только в крупных и трудно управляемых из центра странах.

В мире много разнородных государств, как раз в силу своей разнородности испытывающих дефицит легитимности. В особенно-

“ЕС больше всего напоминает картельный конгломерат государств- фирм, существующих и конкурирующих под одной крышей”.

рии фирмы), либо получая сигналы рынка, указывающие на то, что оно зашло слишком далеко в своей иррациональной экспансии (согласно другой теории фирмы). На мировом рынке конкуренция государств, конвертирующих себя в предприятия, обрекает их в принципе на ту же стратегию или судьбу. Строго говоря, если конкретное государство не может реализовать и утилизировать свой суверенитет как ресурс, то в принципе оно должно быть ликвидировано, роздано другим государствам или заменено другими. Абстрактно говоря, такой ход событий предполагает как дробление на более мелкие части, так и укрупнение существующих государств. Но сейчас преобладает первая тенденция — мультиплексия суверенитетов. Центробежные силы в geopolитической структурной динамике пока сильнее.

сти это относится к так называемым «новым демократиям». В нашу эпоху всеобщей ориентации на демократию ожидается, что повсюду восторжествует «мажоритарная» многопартийная система. Но эта схема реалистична только там, где этническую, конфессиональную, кланово-племенную, соседскую и даже классовую (гораздо более переменную) солидарность вытесняет солидарность партийная. Почти во всех постколониальных странах подобное оказалось невозможно. Не исключено, что это перестает быть возможным и в классических, то есть успешных, демократиях.

Между тем господствующая (морально и инструментально) конвенция не допускает альтернатив многопартийной либерал-демократии. По этой причине неэффективные демократии также получают сильный стимул

к распаду. Впрочем, в данном случае в результате распада не обязательно сразу возникнут экономически успешные государства, но все же есть основания думать, что их будет легче сделать более эффективными.

Однако мультиликация суверенитетов, как и любая тенденция, генерирует контратенденции.

Если государства – предприятия и модус их существования – рынок, то структура экономики, определяемая рынком, предусматривает как малые фирмы, так и крупные. А рост числа суверенных государств возвращает мир к исходной анархии, которая в тенденции будет деградировать в Гоббсово «природное состояние», что и порождает, по логике того же Гоббса, обратную тенденцию к интеграции.

В самом деле, чем больше государств, тем острее проблема глобальной безопасности. Жесткая экономическая взаимозависимость могла бы оказаться адекватной заменой простому полицейскому контролю над возможными источниками опасности, если бы все существующие государства в действительности были жестко взаимозависимы. Но такого совершенства системы ожидать не приходится (вспомним Афганистан и Сомали). В реальности, как уже было сказано, обязательно найдутся государства, выбирающие изоляцию и стилизующие себя религиозно-идеологически. И это помимо тех, что предпочтут или сочтут вынужденным прибегнуть к нелегальным методам конкуренции. Особенно в условиях дефицита первоочередных ресурсов жизнеобеспечения.

Другое свидетельство впадения мира в Гоббсову анархию – офшоры, представляющие собой «подпольный», «серый», «неформальный» сектор мировой экономики. После некоторого периода либерального к ним отношения мировой политический истеблишмент как будто вознамерился их «прижать»: кампании по пресечению увода денег

от налогов в суверенные офшоры и «отмывания» грязных доходов положило начало совещание министров финансов G7 в Галифаксе (2002)²³. Что будет дальше, сказать трудно. Следует иметь в виду, что в офшорах, как и в измельчении государств, заинтересован международный финансовый капитал. Да и на мировом рынке у офшоров есть системный *raison d'être*.

Как бы то ни было, тенденция к интеграции не заставит себя долго ждать. Она, собственно, уже заявляет о себе. Вопрос лишь в том, какие формы она примет. Формы интеграции зависят от ее агентуры и инструментов, имеющихся в ее распоряжении. Агентов интеграции несколько, их шансы на доминирование неодинаковы, но каковы именно, определить почти невозможно. Несомненно, несколько разных форм интеграции наложатся друг на друга и будут сосуществовать в пространстве с очень сложной и трудной для восприятия и воспроизведения топологией. Также несомненно, что среди этих форм появятся совершенно новые, сохраняясь и возродятся старые, а также возникнут гибридные²⁴.

Картелизация и/или федерализация?

Самым суверенным территориальным государствам имманентны две формы интеграции (или слияния): укрупнение и федерализация. Но коль скоро мы говорим о государствах, стилизующих себя под предприятия, то этому соответствуют поглощение и картелизация.

Таким образом, в преобразующейся системе роль «больших единиц» сохраняется. А если есть роль, на нее найдется и исполнитель (свято место пусто не бывает!). Это значит, что нельзя сказать, будто существующие ныне крупные государства совсем уж обречены. Их конкурентоспособность на мировых рынках труднее совместима с их целостностью, чем конкурентоспособность более ком-

пактных образований, – это точно. Но если они предпочтут (по каким бы то ни было «экзистенциальным» соображениям, включая простую историческую инерцию или соображения престижа) использовать свой суверенитет, чтобы сохранить целостность и не стать при этом убыточными предприятиями, они должны этим суверенитетом манипулировать очень творчески. Их путь к интеграции лежит через дезинтеграцию – *картелизацию сверху*. Превращение крупных государств в картели интересно сопоставить с федерализацией. Эти два процесса

- подобны,
- альтернативны,
- совместимы,
- идентичны.

Процесс картелизации фирм подобен процессу федерализации государств. Процесс картелизации государства есть альтернатива процессу его федерализации. Эта альтернативность, впрочем, не означает, что картелизация и федерализация в реальной жизни исключают друг друга. Суверенное государство может выбрать один из вариантов и категорически пресечь другой. Но также может и совместить их. Если субнации (субгосударства), участвующие в процессе федерализации, сами конвертированы в предприятия, то процессы федерализации и картелизации совпадают.

Переплетение федерализации-картелизации характерно для Евросоюза. Это – новообразование. ЕС больше всего напоминает именно картельный конгломерат государств, фирм, государств-фирм, субнаций и субнаций-фирм, существующих и конкурирующих под одной крышей. Но и нынеш-

ние крупные государства тоже всё больше становятся похожи на geopolитические картели-конгломераты. Мы продолжаем называть США, Россию, Китай, Индию «государствами» по инерции дискурса, родившегося в XIX столетии, но это вряд ли уже соответствует действительности. Перед нами, безусловно, не государства в том смысле, какой этому слову придавала политическая философия, начинавшаяся с Бодена, Гоббса или Руссо и завершившаяся классическими государственно-правовыми школами Германии и России. Это не национал-государства (*nation state*). Может быть, это империи? Выглядят очень похоже. У таких конгломератов много общего с империями. И все же это не империи, потому что они строятся не на верховенстве-супрематии суверена, а на инициативе государства (государств) как агента, манипулирующего своим суверенитетом в конкуренции с другими агентами суверенности.

Государственный суверенитет не растворяется в процессе глобализации. Он меняет свое содержание и операциональность, будучи переосмыслен как ресурс, которым можно манипулировать. Глобализация не сужает, а, наоборот, расширяет возможности такого манипулирования. То, что происходит в мире сейчас, – это не кризис принципа юридического государственного суверенитета, а кризис материальной конфигурации глобального экономического пространства. Политическая карта мира не оптимальна. Она должна быть перекроена. Она неизбежно будет перекроена. Она перекраивается. Не исключено, что это будет непрерывный процесс. ■

ПРИМЕЧАНИЯ ¹ Krasner S. Sovereignty: An Institutional Perspective // The Elusive State: International and Comparative Perspective / J. Caporaso (ed.). N. Y.: Sage Publications, 1989. P. 92.

² Kohr L. The Breakdown of Nations. L.: Routledge and Kegan, 1957. P. 191.

³ Это касается всех государств независимо от их geopolитического веса. Можно думать, что силь-

ные державы фактически меньше считаются с данным обстоятельством, чем слабые, но невозмож но отрицать, что принцип равноправия всех юридически независимых государств ограничивает их свободу.

⁴ Herz J. The Rise and Demise of the Territorial State // World Politics. 1957. July. Обзор новейшей критики суверенитета см.: Кустарёв А. Кризис государственного суверенитета // Космополис. 2003. Весна. № 3.

⁵ Концепции суверенитета и государства, возможно, очень важны для международного права (хотя подозреваю, что, приняв их за основу, мы сделаем бессодержательной саму идею международного права), но для рассмотрения проблематики внутреннего законодательного порядка они бесполезны и даже дезориентируют. «Вся история конституционализма... или, что то же самое, либерализма есть история борьбы либерализма против позитивистской концепции суверенитета и сопутствующей ей концепции всемогущего государства» (Hayek F. von. Law, Legislation and Liberty. Vol. 2. L.: Routledge and Kegan, 1982. P. 61).

⁶ Mairet G. Le principe de souveraineté. P.: Gallimard, 1997. P. 162–163. Жерар Мэрэ делает ностальгический акцент на том, что идея народа-суверена уже отыграла свою роль в истории и нынешний принцип суверенитета продолжает существовать *не более* чем по инерции. Мы здесь смещаем акцент и подчеркиваем, что он существует *не менее* чем по инерции, чем и объясняется продолжительность его существования.

⁷ Brown Ch., Ainley K. Understanding International Relations. Hounds mills e. a.: Palgrave Macmillan, 2005. P. 47–48.

⁸ Gvosdev N., Simes D. America Cannot Have It Both Ways with Russia // Financial Times. 2006. Apr. 6.

⁹ Критики считают нелепым, что голоса «лилипутов» в ООН приравниваются к голосам «гигантов». Но по этому поводу уместно напомнить аргумент Макса Вебера в пользу всеобщего избирательного права. Он говорил, что суммирование голосов на основе принципа «один человек – один голос» уравнивает хотя бы в одном отношении тех, кто не равен во всех остальных отношениях. Это не последний и не решающий довод в пользу демократически-поголовного голосования, но игнорировать его тоже было бы опрометчиво.

¹⁰ Одна школа понимает суверенитет как монолит. Другая рассматривает суверенитет как «корзину». Обе точки зрения подробно сопоставляют М. Фаулер и Дж. Банк (*Fowler M., Bunck J. Law, Power, and the Sovereign State. The Pennsylvania State Univ. Press, 1996. P. 63–82*), но они не предпринимают попытку синтезировать оба представления. Между тем это нетрудно сделать, если рассматривать суверенитет как «право» и как «ресурс», что мы и делаем.

¹¹ В этом много лицемерия, что трудно не заметить и что охотно включает в свою концептуализацию международных отношений «радикальная школа». В духе «радикальной школы» можно даже рассматривать доктрину неприкосновенности государственного суверенитета как орудие неоколониализма. Это увлекательный парадокс. Но наши рассуждения на этот раз пойдут в ином русле.

¹² Кустарёв А. Туманная безопасность Альбиона // Civitas. 2004. № 2 (4).

¹³ Hinsley F.H. Sovereignty. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press, 1986.

¹⁴ «Радикальная школа», вероятно, не сомневается, что они лицемерны.

¹⁵ Я воздерживаюсь от их перечисления и обсуждения. Замечу только, что эти соображения имеют как своих защитников, так и критиков. Дискуссия по этому поводу сильно политизирована и нескончаема.

¹⁶ В этом сойдутся и «радикалы», и «реалисты».

¹⁷ Назвать в качестве образцов «неэкономического» самоопределения Северную Корею, Кубу и Мьянму (Бирму) мешают сильные сомнения в легитимности их режимов (особенно последней). Более убедительный прецедент – Бутан, хотя и он уязвим из-за своего изолированного географического положения.

¹⁸ Weiss L. The Myth of the Powerless State.

Cambridge: Polity Press, 1998. P. 209. Линда Вайсс указывает, что первым это понятие предложил Майкл Линд (*Lind M. The Catalytic State // The National Interest. 1992. Spring. No. 27*).

¹⁹ Ruggie J. Territoriality and Beyond // International Organization. 1993. No. 1. P. 149, 165.

²⁰ Недавняя вспышка «экономического патриотизма» в некоторых странах Евросоюза, в США и в России вызвала к жизни риторику, поминутно использующую понятия «суверенитет» и «безопас-

ность», но есть основания полагать, что в ходе масштабных международных слияний возникают конфликты не столько между государствами, сколько между ТНК, или между государством и ТНК. Государства, конечно, ни в коем случае не стоят в стороне от этих слияний, но их роль в них скорее пассивна. В крайнем случае двусмысленна. Кто кем тут крутит — государство компаниями или компанией государством, неясно. Это — новая коллизия, и ее обсуждение нам здесь не под силу.

²¹ *Reinventing Government for the XXI Century: State Capacity in a Globalizing Society* / D. Rondinelly, G. S. Cheema (eds). Connecticut: Kumarian Press, 2003. Авторы перечисляют сферы, где государство, скорее всего, более компетентно, чем другие агенты: базовое образование, здоровье, поддержка малого бизнеса, политическая стабильность, безо-

пасность собственности, инновационные инвестиции, усовершенствование менеджмента (р. 247). Все это параметры «штандортной» политики.

²² Kohr L. Op. cit.; Alesina A., Spolaore E. *The Size of Nations*. Cambridge, MA: The MIT Press, 2003. Леопольд Кор (1909—1993) был оригинальным мыслителем и настоящим пионером этой тематики. Его книга, переизданная в 2002—2003 годах по-английски и по-немецки (*Das Ende der Grossen*), и сейчас выглядит интеллектуально свежее и мощнее книги двух современных американских авторов. Они, кстати, ни разу не упоминают своего выдающегося предшественника, хотя многие темы их работы выглядят парофразами тематики Кора.

²³ Financial Times. 2002. Dec. 3.

²⁴ Кустарёв А. Лихтенштейн — гибридный конститут // Космополис. 2003/2004. Зима. № 4 (6).

Суверенитет: Сборник / Сост. Никита Гараджа. М.: Европа, 2006. 304 с.
(серия «Политучеба»)

Россия Путина – это не банальное авторитарное государство и не смягченная версия Советского Союза, но, конечно, и не либеральная демократия. Можно сойтись на том, что это – управляемая демократия. Данный термин передает логику и механизмы воспроизведения власти, а также способы употребления демократических институтов (или злоупотребления ими) с целью сохранения властной монополии. Но, к сожалению, концепция управляющей демократии не позволяет понять путинскую Россию, если речь идет не о механизме власти, а о некоем амбициозном политическом замысле. Она не может объяснить, почему Владимир Путин противится тому, чтобы стать пожизненным президентом, и почему он, в отличие от его центральноазиатских коллег, объявил о намерении уйти, как и предписывает российская конституция, после окончания своего второго президентского срока. Она не может объяснить, в чем различие между концепциями суверенной демократии Путина и Чавеса. В попытках Запада осмыслить путинскую Россию не хватает одного очень важного элемента – способности проникнуть в политическое воображение ее нынешней элиты. Напрочь отсутствует интерес к аргументам, которыми правящий режим обосновывает свою легитимность. Наверное, прав был Карл Шmittt, когда лет пятьдесят тому назад отметил, что «победитель не испытывает любопытства».

Рецензируемый сборник, который объединил под одной обложкой идеологические тексты, принадлежащие перу российских авторов категории VIP, дает представление о политическом мышлении путинской

элиты. Он содержит подборку выдержек из ежегодных посланий президента РФ, газетное интервью с одним из возможных преемников Путина – первым вице-премьером Дмитрием Медведевым, знаменитые «февральские тезисы» главного идеолога Кремля Владислава Суркова, с которыми он выступил перед активом «Единой России»¹, и еще с десяток эссе и интервью, следующих традиции просвещенного лоялизма. Задача, поставленная публикаторами книги, – сформулировать и развернуть основополагающую концепцию недавно обретенной Кремлем идеологии, а именно концепцию суверенной демократии². Ряд участников проекта, таких, как философы Алексей Чадаев и Никита Гараджа, журналисты Виталий Третьяков и Максим Соколов, военный эксперт Андрей Кокошин, считаются ключевыми фигурами «идеологического спецназа» Путина. Весьма неожиданно среди авторов сборника обнаруживается и Франсуа Гизо, французский политический философ XIX столетия и премьер-министр Франции в последние два года Июльской монархии (1830–1848). Скончавшись в 1874 году, Гизо упустил возможность стать доверенным лицом ближнего круга Путина, но решение редактора-составителя включить в сборник выдержки из его сочинений о суверенитете заслуживает особого внимания. В официальной философии российских поборников суверенной демократии проглядывает и еще одна могучая интеллектуальная фигура – Карл Шmittt, «кронюрист» Третьего рейха и столп современной европейской антилиберальной традиции. Его влияние ощущается на многих страницах рецензируемой книги, но «связи Шmittta

с нацистами» делают перепечатку сочинений немецкого правоведа в сборнике, чьи составители движимы интересами Кремля, невозможной.

По правде говоря, в сравнении с такими шедеврами идеологической литературы, как сталинский краткий курс «Истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)», «Суверенитет» выглядит безыскусным, посредственным чтивом. Новые идеологи Кремля скорее «пиарщики», чем философы, и их размышления о достоинствах суверенной демократии едва ли способны провоцировать работу мысли. Неудивительно, что человек, взявшийся рецензировать эту книгу, испытывает большее искушение впасть в сарказм. Но, впадая в сарказм, упускаешь самое главное. Дело в том, что суверенная демократия – идеологически эффективная концепция. Ее основная цель не в том, чтобы объяснить мир, а в том, чтобы изменить его. Она успешно противостоит двум идеологическим врагам, которых выбрал себе Кремль, – либеральной демократии Запада (*West*) и популистской демократии остального мира (*Rest*).

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ СУВЕРЕННОЙ

ДЕМОКРАТИИ «По национальности» концепция суверенной демократии украинских корней. Она произросла из осмысления Кремлем «оранжевых» событий 2004-го в Киеве, и это хорошо прослеживается в тезисах Суркова, перепечатанных в сборнике. Суверенная демократия – это реакция Москвы на опасную комбинацию популистского давления снизу и международного давления сверху, которые разрушили режим Кучмы.

«Оранжевая революция» («оранжевые технологии», в терминах Кремля) воплощает чрезвычайную угрозу – управляемое из зарубежного далёка народное восстание. Профилактическая контрреволюция Путина, последовавшая за «оранжевыми» событиями в Киеве, знаменовала глубокую

трансформацию режима управляемой демократии в России.

В модели управляемой демократии, которую Путин унаследовал от Ельцина, элиты использовали институциональные элементы демократии, такие, как политические партии, выборы и разнообразные СМИ, с единственной целью – помочь власти предержащей оставаться наверху. Выборы проводились регулярно, но их сверхзадачей было не обеспечить возможность перехода властных полномочий от одной политической силы к другой, а всего лишь легитимировать действующую власть. В отличие от классических моделей управляемой демократии, та, что функционировала в 1990-х годах, не была нацелена на то, чтобы правящая партия управляла политическим процессом. Главной ее задачей было создание параллельной политической реальности. Замысел состоял не только в том, чтобы установить властную монополию, но также и в том, чтобы монополизировать конкурентную борьбу за власть. Ключевым моментом в модели управляемой демократии по-русски было то, что источники легитимности режима находились на Западе. Проект поддельной демократии подразумевал, что манипулятор признаёт пре-восходство модели, которую он извращает. Готовность выслушивать поучения Запада – вот цена, которую российская элита заплатила тогда за использование ресурсов Запада для сохранения своей власти.

Что касается ее социальных корней, управляемая демократия отражала удивительнейшие отношения, сложившиеся между правителями и управляемыми в России в эпоху Ельцина. Стивен Холмс со своейственной ему проницательностью характеризует эти отношения так: «Те, кто наверху, не эксплуатируют и не подавляют тех, кто внизу. Они даже не правят ими; они их просто игнорируют³. Тогдашняя управляемая демократия представляла собой политический

режим, который освобождал элиты от обязанности управлять, тем самым обеспечивая им время позаботиться о своем личном бизнесе. Она воспринималась как наилучший способ избежать кровавой революции, одновременно создавая предпосылки революции криминальной, в результате которой большая часть национального богатства России перешла в руки немногих могущественных инсайдеров. Это был самый подходящий режим для «безналогового государства». Если правительство облагает население налогами, взамен оно должно обеспечить ему определенный набор благ, начиная с услуг, финансовой ответственности и хорошего управления и кончая свободой и народным представительством. Именно подобный размен налогообложения на представительство обеспечивает легитимность власти в современном мире. Управляемая демократия в России 1990-х преуспела в извращении данной логики. Формально налоги в России были предусмотрены, но в действительности никто не заботился о том, чтобы собирать их; выборы проводились, но таким образом, что они не представляли реальные группы интересов. Посткоммунистические элиты открыли для себя неотразимое обаяние слабости государства. Да, Россия была слабым государством, но также и ловким, весьма избирательным в своей слабости. Оно оказалось неспособно платить зарплатную плату своим работникам, но было достаточно сильным, чтобы перераспределить собственность и даже погашать иностранные долги, когда это отвечало интересам элит. Стратегия режима состояла в том, чтобы всячески поддерживать иллюзию политического представительства, при этом всеми силами препятствуя тому, чтобы в политике были реально представлены интересы и настроения тех, кто в результате происходивших общественных трансформаций остался в проигрыше. Тогдашняя модель

управляемой демократии позволила элитам полностью пренебречь законными требованиями граждан. Ни одна реформа, осуществленная в России в период расцвета управляемой демократии, не была инициирована снизу. Именно полное игнорирование основных потребностей людей оказалось наиболее уязвимым местом политической системы России.

В современном западном дискурсе авторитаризм Путина противопоставляется несовершенной демократии ельцинской России, как тирания свободе. В действительности либерализм Ельцина и «суверенизм» (*sovereignism*) Путина – это две разные, но родственные формы управляемой демократии. «Имитация демократии» времен Ельцина при Путине уступила место консолидированной государственной власти, усилившейся за счет огосударствления элиты и устранения или изоляции тех, кого Сурков в цитированном выше февральском выступлении назвал «оффшорной аристократией». Огосударствление элиты происходило в разных формах, таких, как национализация фактического энергетического сектора; установление полного контроля над СМИ; фактическое объявление противозаконной той деятельности, которую ведут неправительственные организации, финансируемые Западом; создание партий, спонсируемых Кремлем; уголовное преследование противников Кремля (дело Ходорковского) и формирование структур, способных активно поддерживать режим в периоды кризисов (например, движение «Наши»).

С точки зрения Кремля, суверенитет – это не право и его смысл не в том, чтобы заседать в ООН. Для Кремля суверенитет – вопрос дееспособности. Он подразумевает экономическую независимость, военную мощь и культурную идентичность. Еще одним ключевым элементом суверенного государства является национально мысля-

щая элита. По мнению кремлевских идеологов, характер элиты – важнейшая составляющая суверенного государства. Формирование национально мыслящей элиты принадлежит к первоочередным задачам проекта суверенной демократии. Но национально мыслящая элита невозможна без национально ориентированной теории демократии.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИСТОКИ СУВЕРЕННОЙ

ДЕМОКРАТИИ Что по-настоящему поразительно в концепции суверенной демократии, так это не сам режим, который она стремится легитимировать, а интеллектуальные рамки обоснования его легитимности. В последние два десятилетия на рынке идей в России не было недостатка в теориях, провозглашающих уникальность культуры и истории России, а также обосновывающих ее всемирную миссию. Раздавались и голоса, настаивавшие на том, что для России пришло время покончить с идеологической зависимостью от западных теорий. В этом контексте примечательно, что идеологи суверенной демократии, разрабатывая свой проект, оставили безо всякого внимания всевозможные теории уникальности России. Кремлевский бунт против ангlosаксонской теории либеральной демократии с ее акцентом на индивидуальных правах и системе сдержек и противовесов произрастает не из критики демократии как формы правления, равно как и не из теорий российской исключительности. Выстраивая аргументацию для обоснования модели суверенной демократии, кремлевские идеологи обратились к интеллектуальному наследию континентальной Европы – к французскому политическому рационализму Франсуа Гизо и «десизионизму»⁴ Карла Шмитта. Удивительно, но именно идеи Гизо и Шмитта образуют интеллектуальные подпорки кремлевской идеи суверенной демократии. Суркова и его философов в наследии обоих мыслителей привлекают антиреволюционаризм и глубочайшее недове-

рие к двум основополагающим концептам нашей демократической эпохи: к идеи представительства как выражению плюралистической природы современного общества и к идеи народного суверенитета, согласно которой демократия – это правление в соответствии с волей народа. Антипулизм и антиплюрализм – вот две отличительные особенности нынешнего российского режима. Следуя Шмитту, теоретики суверенной демократии предпочитают определять демократию как «тождество правителей и управляемых»⁵. Для них, как и для Гизо, суверен – это не народ (избиратели), а разум, воплощающий консенсус ответственных национальных элит⁶. В той идеологической смеси, которую Кремль подготовил из антипулизма Гизо и антилиберализма Шмитта, выборы призваны служить не выражению различных противоречащих друг другу интересов, а демонстрации единства правителей и управляемых. Выборы – это инструмент не народного представительства, а представительства власти перед лицом народа. Данное Шмиттом определение суверена – « тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении»⁷ (*“he who decides on the state of exception”*) – идеально соответствует почти метафизической роли, которую президент играет в сегодняшней политической системе России. Шмиттовское определение демократии как тождества, а не представительства делает затруднительным проведение значимого различия между демократией и диктатурой. И это, с точки зрения кремлевских теоретиков демократии, тоже следует отнести к достоинствам данной теоретической позиции.

Критики Путина внутри и за пределами России склонны отрицать интеллектуальное содержание концепции суверенной демократии. Их интересует сама природа режима, а не то, как этот режим пытается себя преподнести и легитимировать. На их взгляд, поня-

тие суверенной демократии имеет лишь пропагандистскую ценность. Его единственная функция — защитить режим от критики со стороны Запада. Иными словами, суверенная демократия — это оборонительное оружие.

Между тем внимательное прочтение сборника «Суверенитет» кардинально меняет такое представление. Кремль вовсе не занимает оборонительную позицию. Концепция суверенной демократии воплощает ностальгию путинской России по идеологической привлекательности, которой некогда обладал Советский Союз. Поиски «мягкой» власти — это то, что характеризует возвращение России на мировую арену. Политическая энергетика энергетического сектора и привлекательность суверенной демократии — вот два вида оружия, выбранные Россией в ее нынешнем марше на Европу. Вопреки утверждениям критиков Путина, концепция суверенной демократии не означает, что Россия порывает с европейской традицией. Эта концепция олицетворяет идеологические амбиции России стать «другой Европой» — альтернативой Европейскому союзу.

ПРИМЕЧАНИЯ ¹ <http://www.edinros.ru/news.html?id=111148>

² Хотя концепция суверенной демократии вызывала некоторые разногласия внутри кремлевской элиты, в частности, о ней критически высказался вице-премьер Дмитрий Медведев (см.: <http://www.edinros.ru/news.html?rid=43&id=114535>), эти расхождения едва ли свидетельствуют о наличии внутрипартийной идеологической дискуссии; скорее, они представляют собой элемент аппаратной борьбы.

³ Цит. по: *Pipes R. On Democracy in Russia: It Is Not a Pretty Picture // The New York Times. 2004. June 3.*

⁴ Десизионизм (от франц. *décision*, что, в свою очередь, является калькой нем. *Desisionismus*) — политическая, этическая и юридическая доктрина, которая утверждает, что моральные или правовые предписания являются продуктами решений, при-

остается открытым вопрос, будет ли предложенный Путиным коктейль из идей Гизо и Шмитта привлекателен для европейских элит, деморализованных подъемом популизма (который наглядно проявился в отрицательном голосовании по вопросу о принятии Европейской конституции во Франции и Нидерландах) и давлением глобализации. Сможет ли российская политическая модель, представляющая собой комбинацию из контроля элит и классического государственного суверенитета, стать притягательной как для простых граждан, так и для элит Европы, разочарованных в магии постмодернистского государства, которое воплощено в ЕС? Политически корректный ответ — нет: демократическую Европу не удастся соблазнить моделью путинской суверенной демократии. Но это не более чем дань политкорректности. Только время покажет, правилен ли такой ответ. С уверенностью можно утверждать разве только то, что суверенная демократия, как концепция и как реальность, может оказаться более привлекательной для элит Европы, чем для ее народов. ■

ИВАН КРАСТЕВ

нимаемых политическими либо юридическими органами. Согласно десизионизму, юридическую силу решению придает не его содержание, а тот факт, что оно принято надлежащей властью или на основе правильного метода. По К. Шмитту, суверен обладает монополией последнего решения. В этом состоит сущность государственного суверенитета, который юридически должен определяться как монополия решения.

⁵ Глубокий анализ политической философии Карла Шмитта см.: *Muller J.-W. A Dangerous Mind: Carl Schmitt in Post-European Thought. Yale Univ. Press, 2003.*

⁶ Интерпретацию либерализма Гизо см.: *Rosanvallon P. Democracy Past and Future / S. Moyon (ed.). Columbia Univ. Press, 2006 (Political Thought / Political History).*

⁷ Шмитт К. Политическая теология: Сборник / Пер. с нем. М.: КАНОН-Пресс-Ц, 2000. С. 15.

E. T. Гайдар. Гибель империи: Уроки для современной России. М.: Российская политическая энциклопедия, 2006. 439 с.

СССР, который начали обновлять и улучшать... улучшился настолько, что перестал существовать (если государство способно попасть в нирвану, это был как раз такой случай).

Виктор Пелевин. Generation П

Доклад генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева XXVI съезду, ничем не отличавшийся от других выступлений руководителей партии и правительства, полностью убеждал в незыблемости социалистического строя и Советского государства. Готовясь стать как раз в то время пионером, я не мог предположить, что всего через 25 лет буду рецензировать книгу внука Аркадия Гайдара, в которой ее автор размышляет о том, почему развалился Советский Союз. И уж тем более я был бы крайне удивлен тогда, узнав, что сын прототипа главного героя повести «Тимур и его команда» не только ничего не предпримет для спасения СССР, но и, напротив, сочтет его крах естественным и закономерным. Судя по распространяющейся в последние годы в нашем обществе ностальгии по брежневским временам, мое недоумение от произошедшего разделяет значительная часть россиян; впрочем, стремительный развал СССР застал и подавляющее большинство зарубежных специалистов явно врасплох.

Так что же случилось с могущественной сверхдержавой? Почему Советский Союз распался столь стремительно? Было это закономерным процессом или просто роковым стечением обстоятельств? Можно ли было избежать такого исхода или хотя бы произвести демонтаж советской системы как-то иначе? Наконец, закончен ли процесс рас-

пада СССР, и если да, то что следует делать дальше: приступить к его восстановлению или же извлечь из прошлого уроки и постараться не допустить распада России? Ответы на эти и другие вопросы дает Егор Гайдар в своей новой книге, о которой здесь и пойдет речь.

КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ СССР Жанр монографии Гайдара не так просто определить. Подобно тому как его предыдущая книга «Долгое время: Россия в мире» ассоциируется с работами французского историка Фернана Броделя, так и рецензируемая здесь напоминает труды последователя Броделя американского историка и социолога Имманьюэла Валлерстайна, особенно его «Закат американского могущества»¹. Сходство работ Валлерстайна и Гайдара не только в выборе предмета исследования (загнивающая, с точки зрения американского ученого, империя), но и в методе — междисциплинарном анализе, учитывающем ключевую роль Валлерстайновых понятий «мир-система» и «мир-экономика». Гайдар подчеркивает, что нельзя построить новую замкнутую систему в отдельно взятой стране, игнорируя законы экономики и процессы, происходящие в других странах.

Автор использует то, что в экономике называют позитивным подходом: он не стремится давать готовые рецепты того, что надо или не надо было делать, а пытается объяс-

нить, почему и как развивались политика и экономика в СССР. Междисциплинарный характер предмета анализа заставляет Гайдара быть не только историком, политологом и экономистом, но и социальным психологом. Действительно, кроме новых объяснений краха СССР, автору пришлось предложить и свою версию того, почему общепринятые стереотипы так устойчивы. Ведь большинство россиян по-прежнему — и даже в большей степени, чем 15 лет назад, — продолжают считать, что развитой социализм был справедливым и эффективным общественным строем, а Советский Союз распался в результате внешнего воздействия (или заговора внешних и внутренних врагов России). Гайдар объясняет распространность такой точки зрения прежде всего тем, что каждый из нас чувствует дискомфорт от отсутствия рационального объяснения происходящего. Поэтому столь востребована внутренне согласованная теория, даже если она неверна.

Понятно, что теория о хорошем и эффективном СССР в целом выгодна нынешней российской власти. Но на ее популярность работают и другие факторы. Во-первых, альтернативные теории приживаются у нас с трудом из-за того, что многим нашим согражданам трудно вообразить общественные науки, не обслуживающие политических интересов. Многолетняя изоляция российской общественной мысли привела к тому, что даже не всякий россиянин с высшим гуманитарным образованием имеет реальное представление о достигнутом ныне научном уровне исторических, социологических, политологических или экономических исследований. Во-вторых, контроль над СМИ в современной России, как и в СССР, позволяет вывести из широкого публичного обсуждения факты, которые этой теории противоречат.

Гайдар принимает вызов господствующих стереотипов, обращаясь к сравнительному исследованию заката и распада различных

мировых империй, равно как и феномена постимперской ностальгии. Он привлекает наше внимание в первую очередь к опасным параллелям между историей современной России и Веймарской республики. Вместе с тем интересен и его анализ постимперского синдрома в Великобритании, Франции и той же Германии после Второй мировой войны. Автор показывает, что отход от империи и диктатуры — процесс крайне болезненный; успешный демонтаж империи (как, например, это произошло в ФРГ) скорее исключение, чем правило.

Но всё же основная часть книги — это мастерски написанная экономическая и политическая история послесталинского СССР. Надо сказать, что для экономиста плавновая экономика гораздо более неудобный объект исследования, чем рыночная: побуждение к припискам и искажению цен было в советское время столь велико, что нет никакой возможности адекватно оценить эффективность принимавшихся тогда решений. Поэтому приходится оперировать натуральными показателями и прибегать к косвенным методам оценки успеха или провала тех или иных действий экономических агентов. К счастью для читателей, Гайдар обладает уникальным набором качеств, необходимых для такой работы: он не только историк экономики, но и практик, который в каждом конкретном случае имеет свое собственное, выстраданное суждение об относительной важности тех или иных задач, стоявших перед советским руководством. Кроме того, за последние 20 лет Гайдару удалось собрать богатый архив данных, многие из которых либо никогда не были открыты для широкой публики, либо вновь исчезли из открытого доступа в последние годы. Поэтому разделы о зерне и капитальном строительстве читаются как увлекательный роман.

Главная цель труда Гайдара — убедить читателя в несостоятельности на первый взгляд

стройной теории об эффективности и устойчивости СССР. Автор выдвигает альтернативное объяснение гибели Советского Союза — тоже внутренне согласованную теорию, но при этом подкрепленную приводимыми фактами. Эта теория очень проста. Командная экономика могла держаться исключительно на терроре. Однако террор результативен лишь в условиях экономической неразвитости или войны (при наличии очевидной внешней угрозы). Как только в экономике достигнут более-менее высокий уровень, происходит необратимый сдвиг: и элита, и широкие массы начинают ценить материальные блага. Народу теперь есть что терять, и его становится трудно убедить терпеть лишения, особенно если их нельзя обосновать необходимостью противостоять внешней агрессии. В подобной ситуации элита может удержаться у власти, только предложив населению сделку: отсутствие прав и свобод в обмен на экономическое благосостояние, которое пусть медленно, но неуклонно растет. Если же этот социальный контракт нарушается, элита теряет свою легитимность, а вместе с нею и власть. Такой сценарий едва не реализовался в СССР сразу после демонтажа сталинского режима. Стоило власти повысить цены на хлеб (то есть понизить реальные доходы населения), начались оппозиционные выступления. Особенно драматичными были события в Новочеркасске, когда войска перешли на сторону восставших. Справившись с этими волнениями ценой огромных моральных издержек, власти были вынуждены сделать из них два неприятных для себя вывода. Во-первых, они осознали, что, произойди подобные бунты в Москве либо Ленинграде, их едва ли удалось бы усмирить, и поэтому любой ценой надо было сохранять высокий уровень потребления в столичных городах. Во-вторых, стало ясно, что экономическую систему необходимо менять, иначе уже в скон-

ром времени не хватит ресурсов для поддержания приемлемого уровня потребления в стране.

Это привело к разработке так называемых косыгинских реформ. Однако они так и остались на бумаге. Дело в том, что в Западной Сибири были обнаружены огромные запасы нефти, а война на Ближнем Востоке привела к беспримерному росту мировых цен на нефть. Так что проблема недостатка ресурсов отпала сама собой. Несмотря на вопиющую неэффективность советской экономики, обременительную помощь дружественным режимам по всему миру и дорогостоящую войну в Афганистане, нефтяных денег оказалось достаточно, чтобы отодвинуть вопрос о реформах почти на двадцать лет. За эти два десятилетия система управления в такой степени потеряла обратную связь с реальностью, что на реформы оказалась уже неспособна. Поэтому, когда цены на нефть упали и Советский Союз обанкротился, спасти его не было никакой возможности. И хотя в середине 1980-х годов руководство СССР смогло одолжить огромные деньги на проведение реструктуризации, скоро выяснилось, что разрабатывать план реформ и претворять его в жизнь было некому: советская система управления попросту прогнила изнутри.

Впрочем, как заметил когда-то Михаил Булгаков, все теории стоят одна другой. Потому и стройность теории Гайдара вызывает некоторое подозрение: уж не подобрал и не выстроил ли автор факты таким образом, чтобы раз и навсегда не просто покончить с обвинениями в свой адрес в руководстве заговором, нацеленным на развал Советского Союза, но и доказать, что другого курса реформ честный думающий человек предложить не мог?

Даже самому благожелательному читателю трудно отделить Гайдара-ученого от Гайдара-реформатора и поверить в его бес-

пристрастность². По-видимому, и сам автор не до конца определился со своим амплуа: то он именует себя в научном стиле «автором», то прибегает к публицистическому «я»³. Поэтому и моя рецензия будет двойственной – сначала объективно-научной (от лица кабинетного ученого-экономиста), а затем общественно-политической (от лица гражданина, испытавшего распад СССР на собственном опыте).

ИСТОРИЯ ИМПЕРИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Насколько тезис Гайдара убедителен с научной точки зрения? Основные утверждения Гайдара – это отрицательное воздействие высоких нефтяных цен на политические и экономические институты и в свою очередь влияние деградации институциональной основы советского строя на его экономические показатели. Для экономиста само по себе совпадение во времени изменений цен на нефть, негативной динамики политических и экономических институтов и экономического банкротства СССР еще не может служить доказательством причинно-следственной связи между всеми этими явлениями. Что если это всего лишь корреляция и без нефтяных доходов ситуация была бы еще хуже? Как определить влияние политико-экономических институтов (то есть правил игры в экономике и политике) на экономический рост, когда и сами институты зависят от экономических процессов?

Для того чтобы разорвать этот порочный круг, необходимо выделить экзогенные – по отношению как к институтам, так и к экономическим взаимодействиям – факторы, что позволит отследить влияние институтов на экономический рост и развитие. Для Гайдара в такой роли выступают цены на нефть. Однако (как неоднократно отмечает и сам Гайдар) их влияние со своей стороны зависит от уровня развития институтов. Так, в работе Джеймса Робинсона, Рагнара Торвика и Тьери Вердье показано, что нефтя-

ное проклятие опасно лишь для стран с изначально плохими институтами. Если же нефть открывают в странах со зрелой демократией и рыночной экономикой (таких, например, как Норвегия), то нефтяные доходы приносят только пользу⁴.

Надо сказать, что в современной экономической науке есть ряд работ, в которых проблема эндогенности и взаимозависимости успешно решается. Тем самым аргумент Гайдара подтверждается в принципе, правда, не на конкретном примере СССР. В первую очередь речь идет о серии статей и книге американских экономистов Дарона Асемоглу и Джеймса Робинсона⁵. Эти авторы показывают, например, что качество институтов в бывших европейских колониях зависело от того, до какой степени европейцы были подвержены местным заболеваниям. Если колонизаторы знали, что в данной местности им селиться нельзя, они и не заботились построением хороших институтов. В таких странах (это преимущественно страны Экваториальной Африки) до сих пор отсутствуют и защита прав собственности, и практика исполнения контрактов. Там же, где европейцы селились всерьез и надолго, возникали институты, которые были ничуть не хуже, чем в Европе (типичный пример – Северная Америка).

В других работах Асемоглу и Робинсон подчеркивают ключевую роль среднего класса. Именно возникновение среднего класса в западных странах подталкивало их движение в сторону демократии. Элиты были вынуждены делиться властью с другими слоями общества в обмен на отказ последних от революции; гарантией консолидации демократии стало то обстоятельство, что среднему классу было что терять. Откуда берется средний класс? Мы снова сталкиваемся с проблемой взаимозависимости: чем лучше институты, тем сильнее средний класс, наличие которого, в свою очередь, определяет институцио-

нальную динамику. Тут на помощь приходят Кеннет Соколофф и Стенли Энгерманн⁶, которые сравнивают развитие экономических институтов в Северной и Южной Америке. Различие между обоими континентами заключалось в том, что в южноамериканском сельском хозяйстве преобладали крупные латифундии. Это приводило к огромному разрыву в богатстве и благосостоянии между землевладельцами и их работниками. Для сельского же хозяйства Северной Америки столь высокая отдача от масштаба производства не была характерна: здесь оказались вполне конкурентоспособными семейные фермы. Как следствие, возник средний класс, что затем и привело к становлению хороших институтов.

Еще один интересный аргумент — это связь качества институтов с размером страны. В цикле статей и недавно вышедшей книге Альберто Алесина и Энрико Сполаоре⁷ рассматривают — теоретически и эмпирически — основные факторы, которые определяют размер страны. У больших (по критерию численности населения) стран есть и достоинства, и недостатки. Чем больше страна, тем эффективнее предоставление общественных благ. С другой стороны, в большой стране трудно договориться о том, что именно должно делать правительство. Так как эта проблема гораздо болезненнее при демократии, чем при авторитаризме (который защищает выгоду правящего меньшинства и мало озабочен согласованием интересов всех слоев общества), демократические страны, как правило, по размерам меньше авторитарных. Поэтому неудивительно, что демонтаж авторитарных режимов часто сопровождается распадом больших государств. Поскольку малые страны не могут выжить в условиях закрытой экономики, глобализация и экономическая открытость также поощряют процесс возникновения таких стран.

Вернемся к нефти. В нашей с Георгием Егоровым и Константином Сониным работе⁸ теоретически и эмпирически подтверждается правота Гайдара. Мы показываем, что без механизмов обратной связи с обществом — через разделение властей, выборы и свободные СМИ — правительство обречено на ошибки и загнивание. Впрочем, при наличии нефтяных доходов такую роскошь государство может себе позволить. Поэтому более богатые нефтью страны при прочих равных условиях имеют менее свободные СМИ и более низкий уровень развития демократии (об этом см. в недавней работе Кевина Цуя⁹), чем те, что не обладают нефтяными запасами. Лишенный сдержек и противовесов, государственный аппарат становится похож на печально известную корпорацию «Энрон», которую вранье и приписки довели до банкротства. Стремление держаться на плаву не благодаря реальным достижениям, а с помощью фальсификации отчетности, стало, по выражению одного из основателей современной теории корпоративного управления Майкла Джансена¹⁰, «менеджерским героином»: подобная порочная практика быстро разрастается, разъедая внутренние стимулы функционирования корпоративной иерархии, и избавиться от нее очень трудно. Неудивительно поэтому, что советская система управления в конце концов выродилась — ведь в соответствии с теорией поддакивания (*a theory of yes-men*) Каниса Прендергаста¹¹ бюрократическая иерархия оказалась пропитана культурой всеобщей сервильности и приписок. Аналогичные выводы следуют из работ Егорова и Сонина, показывающих, что подбор некомпетентных кадров — в самой природе авторитарных режимов¹².

Советским лидерам остается лишь радоваться тому, что их не постигла судьба Чаушеску. Румынский диктатор настолько потерял всякий контакт с реальностью, что после относительно небольших беспоряд-

ков в Тимишоаре созвал массовый митинг в Бухаресте в поддержку своего режима. Он никак не ожидал, что многолюдное сбощище может перерasti в акцию протеста, которая завершится его расстрелом уже через два дня.

Впрочем, экономика не столь точная наука, как, скажем, физика, и из любого правила возможны исключения. Политическая экономия обозначает лишь преобладающие тенденции, но отдельным личностям и некоторым странам удается опровергнуть выводы, сделанные исследователями. Именно поэтому так важны не только регрессии, но и конкретные прецеденты. Гайдар приводит ряд межстрановых сопоставлений, но не до конца объясняет, почему одним странам удалось избавиться от постимперского синдрома довольно безболезненно, в то время как другие были обречены вновь и вновь учиться на собственных ошибках. Список примеров Гайдара далеко не полон. Если его продолжить, то станет очевидно, как важна роль политического лидера в истории. Стране, чтобы избавиться от постимперского синдрома, необходим выдающийся политик, дальновидный и обладающий непрекаемым авторитетом в обществе, а главное, готовый его использовать на благо своего народа. В эту когорту попадают как Аденауэр с де Голлем, о которых Гайдар пишет, так и Ататюрк с Дэн Сяопином, о которых он не пишет. Вопрос в том, как появляются подобные лидеры. Почему одной стране на долю выпадает Ататюрк, а другой – Гитлер?

Пример Китая свидетельствует, сколь велика в этом деле роль случая. Феномен китайского развития обычно приводят в доказательство неправоты Гайдара, критикующего политику нынешней российской власти. Но ведь реформы Дэн Сяопина как раз один из самых успешных примеров демонтажа тоталитарной системы. Несмотря на кажущееся всесилие, режим Мао не преуспел

в попытках полностью уничтожить не то что независимо мыслящие, но и даже просто квалифицированные кадры высшего руководства страны. К власти вскоре после смерти «великого кормчего» пришел Дэн Сяопин, дважды репрессированный и выживший буквально чудом. Новый китайский руководитель, думается, оценил бы аргументы, выдвинутые в книге Гайдара. Конечно, у Дэна не было сумасшедших нефтяных сверхходов, тем не менее даже после всех потрясений маоистского периода китайского ВВП вполне хватило бы на безбедную жизнь высшего руководства и его самого. Но, как выяснилось, Дэна заботили не столько личная власть и благосостояние, сколько будущее Китая, которое не имело перспектив без либеральных реформ.

ОТЦЫ И ДЕТИ: КУДА ПОДАТЬСЯ ПОКОЛЕНИЮ Х?

События, которые описывает в своей книге Гайдар, настолько небезразличны большинству его читателей, что попытка ограничиться чисто научной рецензией выглядела бы откровенным притворством. Куда честнее было бы раскрыть личные предпочтения и пристрастия, чтобы дать возможность читателю при оценке книги сделать поправку на неизбежную предвзятость автора.

По своему опыту и политко-экономическим воззрениям Гайдар не может не отличаться, и притом существенно, от огромного большинства читателей его книги. Еще до распада СССР он гораздо в большей степени, чем многие, был осведомлен о степени неэффективности советской системы. Придя на работу в российское правительство, Гайдар убедился, что разрушение институтов экономики и государственного управления стало свершившимся фактом еще в последние годы существования Советского Союза. Показательны в этом отношении цитируемые им слова (с. 186) председателя Госплана СССР Николая Байбакова, прямо подтверждающие, что вклады населения на счетах в

Сбербанке шли на покрытие позднесоветского бюджетного дефицита. Гайдар был также знаком с предназначеными для служебного пользования отчетами о росте коррупции и преступности в стране. Но самое главное, он знал, что советское руководство реагировало на развитие событий с большим опозданием и не имело хоть сколько-нибудь реалистичного плана преодоления трудностей.

Читатели Гайдара в своем большинстве не участвовали в управлении государством, не имели доступа к архивам, и поэтому они убеждены, что проблемы переходного периода возникли вследствие перехода к рынку, а не унаследованы от советских времен. С другой стороны, читатели отнюдь не однородны. Одна группа россиян (условно назовем ее «старшим поколением») помнит советские очереди и повсеместно распространенную двойную мораль, но, воспитанное в советских традициях, это поколение с трудом расстается с постимперским синдромом и с подозрением относится к Западу. «Среднее поколение» (поколение Х, по Дугласу Коупленду) тоже помнит очереди, но выросло в годы гласности и перестройки. А «младшее поколение» не испытalo всех «прелестей» жизни в командной экономике, зато оно стало свидетелем национального унижения России и поэтому восприимчиво к идеям «исторического реванша»¹³. В результате лишь «среднее поколение» (к которому я отношу и себя) с готовностью принимает аргументы Гайдара. Мы не приемлем государственную экономику и не желаем смотреть государственное ТВ. Мы ценим свободу и возможность жить не по лжи не только в качестве самостоятельных ценностей, но и как основу экономического благосостояния. Мы видели худшие годы СССР, моральное банкротство комсомола и агонию экономики дефицита. Мы знаем, что Советский Союз был обречен, что его распад был не катастрофой, а освобождением от режима, который к

тому времени растерял своих сторонников. В нас нет ксенофобии на подсознательном уровне, и мы уверены, что общие, глобальные интересы существуют, а иррациональный национализм деструктивен. Мы просто хотим жить в нормальной стране.

Поэтому для нас новая книга Гайдара имеет особое значение. С одной стороны, это приговор: анализ, проделанный автором, свидетельствует о том, что политика нынешнего российского правительства ведет страну по пути позднего СССР. С другой стороны, это своего рода катехизис для дискуссий с нашими и старшими, и младшими согражданами, мечтающими о возвращении великого Советского Союза с его государственной собственностью на средства производства и централизованной политической системой. К сожалению, таких манифестов пока очень мало, но тем ценнее каждый из них. Все те, кто сомневается в правоте официальной точки зрения, нуждаются в подобных публикациях для того, чтобы, координируя на их основе свои позиции и систематизируя аргументы, в конечном счете убедить остальных в бесперспективности советского пути.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТОВ

И ПРЕЕМНИКОВ Рецензируемая книга – это в своем роде предостережение для российских президентов и кандидатов в президенты. Легко управлять страной в пору высоких цен на нефть, но каждый неосторожно потраченный нефтедоллар, каждый день откладывания реформ приближают Россию к горькой судьбе Советского Союза. Пройдена ли точка невозврата? Один из подтекстов работы Гайдара в том, что удержаться от соблазна пойти по пути наименьшего сопротивления практически невозможно: при высоких ценах на нефть правительство теряет обратную связь с экономикой и обществом. Когда цены на нефть упадут, нас ждут в лучшем случае смена правительства и болезненные

реформы. Впрочем, ситуация пока что значительно лучше, чем в последние годы советской власти: у нас есть большой стабилизационный фонд и целые отрасли с частными предприятиями и высокой конкуренцией, экономика намного более открыта. Тем не менее каждый день мы должны спрашивать себя: что мы сделали сегодня, чтобы избежать судьбы СССР? Из книги Гайдара следуют и необходимые первоочередные решения: децентрализация системы управления и информации, то есть восстановление региональных выборов и свободы СМИ; отказ от

модели госкапитализма – приватизация всех неинфраструктурных отраслей. В любом случае всё это придется сделать, когда цены на нефть упадут, но гораздо разумнее решиться на такие шаги прямо сейчас. Удастся ли российскому руководству преодолеть давление объективных факторов и сдать экзамен на право лидерства – вопрос открытый. Ответ на него даст не книга Егора Гайдара, а российская история ближайших нескольких лет. ■

СЕРГЕЙ ГУРИЕВ

ПРИМЕЧАНИЯ ¹ Wallerstein I. The Decline of American Power: The US in a Chaotic World. N. Y.; L.: The New Press, 2003.

² В этом контексте напрашивается параллель с недавно вышедшей в свет книгой известного американского экономиста Андрея Шлейфера «Обычная страна: Россия после коммунизма» (Shleifer A. Normal Country: Russia after Communism. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 2005), в которой автор также настаивает на том, что ожидания начала 1990-х годов были завышены и по гамбургскому счету переход к рынку в России можно признать скорее успешным, чем провальным. Несмотря на блестящую аргументацию этого тезиса, читатель не может не держать в уме, что Шлейфер был советником российского правительства в первой половине 1990-х.

³ Такая двойственность находит отражение и в неопределенности позиции автора по оси «Запад – Восток». Как исследователь Гайдар тяготеет к западной парадигме, как политик и публицист – идентифицирует себя с Россией. В связи с этим характерна единственная найденная мной в рецензируемой книге опечатка: фамилия американского экономиста Уильяма Истерли (Easterly) прочитана как Уэстерили.

⁴ Robinson J., Torvik R., Verdier T. Political Foundations of the Resource Curse // J. of Development Economics. 2006. Vol. 79. P. 447–468.

⁵ Acemoglu D., Robinson J. Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge, Mass.: Cambridge Univ. Press, 2005.

⁶ Sokoloff K., Engerman S. History Lessons: Institutions, Factor Endowments, and Paths of Development in the New World // J. of Economic Perspectives. 2000. Vol. 14. No. 3. P. 217–232.

⁷ Alesina A., Spolaore E. The Size of Nations. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003.

⁸ Egorov G., Guriev S., Sonin K. Media Freedom, Bureaucratic Incentives and the Resource Curse // CEPR Discussion Paper 5748 / Center for Economic Policy Research. L., 2006.

⁹ Tsui K. More Oil, Less Democracy?: Theory and Evidence from Crude Oil Discoveries / Mimeo. Univ. of Chicago, 2005.

¹⁰ Jensen M. The Agency Costs of Overvalued Equity and the Current State of Corporate Finance // European Financial Management. 2004. Vol. 10. Iss. 4. P. 549–565.

¹¹ Prendergast C. A Theory of “Yes Men” // American Economic Rev. 1993. Vol. 83. No. 4. P. 757–770.

¹² Egorov G., Sonin K. Dictators and Their Viziers: Agency Problems in Dictatorships // CERP Discussion Paper 4777 / Center for Economic Policy Research. L., 2004.

¹³ Приведенная классификация «поколений», разумеется, в высшей степени условна. Различия в ценностях лишь коррелируют с возрастом, но в каждой возрастной группе имеются значительные по численности подгруппы, которые в силу своего воспитания и особенностей личного опыта сближаются скорее с другими «поколениями», чем со своим.

Алексей Миллер. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 242 с.
(*Historia Rossica*)

Новую книгу Алексея Миллера можно читать несколькими способами. Точнее, ее крайне желательно читать несколькими способами *одновременно*, потому что именно пересечение контекстов обеспечивает тот эффект «фазового перехода» — скачкообразного усложнения системы представлений, — который и образует главное ее достоинство.

Первый и, конечно, основной из этих контекстов — собственно *исторический*. В самые последние годы присутствие слова «империя» где бы то ни было — в заголовке газетной или журнальной статьи, в публичной речи, в названии «круглого стола», в анонсе медийного события — стало знаком политической актуальности. Почему это так — вопрос, заслуживающий отдельного обсуждения и уже не раз обсужденный. Но еще до того, как имперская тематика властно вторглась в актуальный политический дискурс, она оказалась в фокусе научных дискуссий. Сдвиг начался на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века, когда историки обнаружили, что эвристический потенциал термина «империя» вовсе не исчерпан и даже почти не тронут, что феномены государства и нации (а следовательно, и все их производные) не могут быть удовлетворительно объяснены без обращения к имперской составляющей их генетического кода и что вес этой составляющей гораздо больше, а отпечаток, наложенный ею на облик современных обществ, гораздо глубже, чем было принято считать ранее*.

Конечно, не случайно такой интеллектуальный поворот совпал по времени с крахом

СССР: имперский характер советской геополитической мегамашины с теми или иными оговорками признается большинством (Миллер, кстати, в него входит) специалистов. Но это событие не только стимулировало интерес к Российской империи и через нее к империям как таковым (здесь, впрочем, вовсе не предлагается монокаузальное объяснение — параллельно активизировалось, например, изучение Османской империи). Оно же открыло российским историкам одну из первых возможностей полноценного и равноправного участия в транснациональном научном движении, причем уже с момента его возникновения. Надо признать, что в целом ответ отечественной науки на этот вызов оказался достойным — и не в последнюю очередь благодаря Алексею Миллеру. Обилие публикаций, посвященных различным аспектам имперской истории России (в основном, но не исключительно, западных ее окраин), среди которых выделяется монография «Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.)» (СПб.: Алетейя, 2000); руководство многочисленными исследовательскими и издательскими проектами, постоянное перемещение между университетскими и научными центрами по всему миру — Миллер является прекрасный пример «нормального» (а не в порядке более или менее снисходительного исключения) вхож-

* Без упоминания хотя бы нескольких имен здесь не обойтись: Андреас Каппелер, Доминик Ливен, Энтони Пагден, Альфред Рибер, Чарльз Тилли, Марк фон Хаген *etc.*

дения российского гуманитария в мировую научную среду. Скорее всего, это связано и с тем, что его изыскания все более тяготеют к концептуализации имперских политических механизмов, не отрываясь при этом от конкретно-исторической, документальной фактуры, но и не ограничиваясь ее частными интерпретациями. Книга «Империя Романовых и национализм» фиксирует определенный этап этой эволюции.

Миллер определяет ее жанр формулой «монография-пунктири» (с. 5) (отсылая к «роману-пунктири» Андрея Битова «Улетающий Монахов»). Действительно, сюжеты составивших книгу глав различны, хотя и соприкасаются. Но сходно производимое ими воздействие: всякий раз читатель обнаруживает в своих представлениях о прошлом «слепое пятно», в существовании которого он, скорее всего, и не отдавал себе отчета. Оно не то чтобы заполняется по прочтении соответствующей главы — скорее в распоряжении читателя оказывается набор ориентиров и векторов потенциального движения мысли, и этим набором при желании можно будет воспользоваться в ходе самостоятельных изысканий.

Так, вторая глава «Русификация или русификации?» убедительно демонстрирует множественность и разнородность политик и практик, обычно объединяемых этим «зонтичным» термином, и невозможность их однозначной оценки или интерпретации. Так, следующая глава «Идентичность и лояльность в языковой политике властей Российской империи» показывает неправомерность приписывания какой-либо единой телеслогии всей сумме политических решений, управлявших представленными в имперском пространстве групповыми идентичностями и лояльностями. И то, что соответствующие решения принимались акторами различных уровней (как местными, так и центральными) и по разным мотивам; и то,

что на характер этих решений существенно влияли многие внешние по отношению к самой империи факторы; и то, что «далеко не всегда власти империи... руководствуются националистической логикой, то есть ставят целью реализацию того или иного проекта культурной и языковой ассимиляции. Нередко приоритетом имперской власти является лояльность, то есть утверждение такой версии локальной идентичности, которая была бы совместима с лояльностью империи как по определению гетерогенной политии» (с. 88), — все это означает, что расхожие представления о монотонном унифицирующем давлении имперского центра на все невеликорусские культурные и языковые сообщества нуждаются в серьезной коррекции. Так, самая большая по объему и, пожалуй, самая яркая в книге глава «Империя Романовых и евреи» не оставляет камня на камне от еще более распространенного мифа о некоем сущностном, инвариантном антииудаизме Российской империи — опять мы наблюдаем текущую множественность сменяющих друг друга подходов, программ и политик, а также постоянные трансформации их равнодействующей. «...История евреев в Российской империи страдает от того же “синдрома виктимизации”, что и другие национальные нарративы. Вопрос здесь не в том, являлись ли евреи в Российской империи жертвами дискриминации и насилия, — потому что они безусловно являлись жертвами и того и другого. Вопрос в том, можно ли рассказать *всю* историю политики империи в отношении евреев как историю притеснений и дискриминации. Негативный ответ на него... однозначен» (с. 145). Сходным образом устроены и следующие главы, посвященные процессам формирования представлений о собственно русской национальной территории как географическом ядре империи («Империя и нация в воображении русского национализма») и о самой «единой

русской нации» как ее ядре – социальном и культурном («Завещание общерусской идеи: Меморандумы Особого политического отдела МИД царскому, Временному и большевистскому правительству»).

Однако определенная смежность сюжетов – не единственное, что позволяет воспринимать эти тексты (первые версии которых, по признанию автора, и «не были изначально задуманы как главы будущей книги», с. 5) как нечто целое. В гораздо большей степени роль связующего элемента исполняет *метод* – и это второй контекст, в котором следует рассматривать книгу Миллера. Вообще в российской исторической (да и в гуманитарной в целом) науке методологическая рефлексия – не самое популярное занятие. И вряд ли дело тут только в усвоенном еще в советские времена недоверии к «большим» моделям и теориям (всегда подозреваемым в идеологической нагруженности) и стремлении к стерильной «правде факта», остававшейся тогда единственным прибежищем ответственного ученого. Невнимание, даже нечувствие к проблемам метода и в сугубо досоветские времена было одной из характеристик российской интеллектуальной традиции. Книга Миллера, как обещает уже ее подзаголовок, представляет собой исключение из этого печального правила, в основном и консервирующего провинциальные черты отечественной гуманитарии. Введение раскрывает и уточняет интенцию автора: «В этой книге есть повествовательные фрагменты... Но они выполняют вспомогательную функцию. Фокус книги – вопросы методологии, с которыми мы сталкиваемся при изучении истории национализма в Российской империи» (с. 6).

Таких вопросов поднимается четыре – один во введении, остальные в первой главе («История Российской империи в поисках масштаба и парадигмы»), сознательно не упоминавшейся выше. Прежде всего это

тема неудовлетворительности как традиционного исторического нарратива, неизменно сфокусированного «на центре, на государстве, на власти» (там же), так и конкурирующих с ним национальных нарративов, для которых «империя – лишь тягостный контекст, в котором “просыпалась”, зрела, боролась за независимость та или иная нация» (с. 7) (в том же ряду – попытки «рассказать историю русских отдельно от всех остальных жителей империи», с. 9). Нельзя не согласиться с Миллером в том, что гораздо более многообещающим проектом является «новая история империи», чье внимание привлекает «та сложная ткань взаимодействия имперских властей и местных сообществ, которую нужно стремиться воссоздать во всей ее полноте» (с. 7). (Звучащий в этих словах некоторый утопизм – амбиция «воссоздать во всей ее полноте» что бы то ни было, конечно, нереализуема средствами науки, – наверное, простителен, поскольку определяет только мотив и цель предлагаемой трансформации аналитической оптики.) «...Речь идет прежде всего о многообразии населения империи, о сложных системах отношений между центром и окраинами, имперской властью и локальными сообществами, об асимметричности административно-политических и правовых структур, о ресурсах устойчивости империи, о ее способности стабилизировать гетерогенное в этноконфессиональном и социокультурном отношении общество» (там же).

Действительно, обо всем этом и говорится в составляющих книгу главах: они убедительно показывают «нищету» национальных нарративов, сводящих к бинарным взаимодействиям многослойность и многосложность органики имперского политического тела. Здесь можно только заметить, что проект «новой истории империи» реализуется уже достаточно давно и достаточно успешно. Усилиями его участников национальные

нарративы – всегда политически ангажированные, всегда подчиняющие научные задачи требованиям программ *nation*- или *state-building*, – кажется, всерьез дискредитированы, по крайней мере, в «продвинутых» интеллектуальных кругах. Не исключено, что это сражение уже выиграно. Не исключено, что пришло время для постановки эксперимента, в рамках которого история империи писалась бы уже как история именно империи, без особой оглядки на национальные нарративы, без растраты энергии на полемику с ними. Кстати, от такого подхода могла бы нечто приобрести и сама рассматриваемая книга. Ведь лейтмотивом ее является проблематизация, то есть разрушение и давно утвердившихся стереотипов, и недавно сконструированных мифологем. Миллер убедительно показывает необходимость новой, более адекватной концептуализации проблематизированных им сюжетов, но сама эта работа в основном откладывается на будущее. Безусловно, « страсть к разрушению есть творческая страсть», однако эволюция науки подразумевает не только критику устаревших парадигм, но и демонстрацию возможностей новых. Миллер превосходно решает первую задачу, для решения же второй он оснащен, может быть, лучше большинства своих коллег. Поэтому хочется надеяться, что начатое этой монографией движение будет решительно продолжено в следующей.

Вторая методологическая проблема, поднимаемая Миллером, – недостатки широко практикуемого уже внутри «новой истории империи» «регионального подхода», генеральный смысл которого состоит в вычленении в большом имперском пространстве определенных территориальных зон (на тех или иных, но всякий раз своих основаниях) и в попытке комплексного анализа разворачивавшихся в этих зонах процессов. Основоположник этого подхода, Андреас Каппелер, и в 2000 году, спустя восемь лет

после публикации своей этапной книги «Россия – многонациональная империя», продолжал полагать, что «региональный подход к истории империи станет особенно инновационным. Преодолевая этноцентризм национально-государственных традиций, он позволяет изучать характер полиэтнической империи на различных пространственных плоскостях... Смена перспективы разрывает, прежде всего, столетней давности традицию централистского взгляда на историю России, которая себя изжила. Сейчас, как никогда прежде, важно понять Россию и ее историю, как она видится из регионов. То, что эта перспектива получает распространение именно сейчас, когда национализм и регионализм в России становятся уже политически значимыми, доказывает тесное взаимоотношение между политикой и историей» (*Каппелер А. «Россия – многонациональная империя»: восемь лет спустя после выхода книги // Ab Imperio. 2000. № 1. С. 21*).

Миллер справедливо указывает, что «региональный подход до сих пор остается... неопределенным в своих методологических основаниях»; что «само понятие “регион” крайне неопределенno», и «на звание региона претендуют в работах историков любые территории, не совпадающие с существующими государственными границами» (с. 15); что региональный подход не только не может «стать панацеей от недостатков национального нарратива» (с. 16), но и способен при определенных обстоятельствах превращаться в закамуфлированный вариант последнего; что «отношения с регионализмом у историка должны строиться так же, как с национализмом, то есть с крайней настороженностью... чтобы повестка дня изучаемых идеологических течений не становилась собственной повесткой дня исследователя» (с. 26), – а невымышленность этого риска хорошо видна в последней фразе приведенной цитаты из Каппелера.

В качестве альтернативы регионально-му Миллер предлагает «ситуационный подход», определяемый им так: «...в центре внимания оказывается определенная структура этнокультурных, этноконфессиональных, межнациональных отношений или же различные аспекты, например, экономического, административного взаимодействия.

Задача в том, чтобы выявить участвовавших в этом взаимодействии акторов и понять логику их поведения, то есть реконструировать ситуацию взаимодействия в возможной полноте» (с. 28). «Во-вторых, ситуационный подход предполагает отказ от концентрации на каком-то одном акторе, что так характерно и для историков национальных движений, и для традиционного централистского подхода к изучению политики имперских властей. Фокус смещается с акторов как таковых именно на процесс их взаимодействия... Именно в этой оптике акторы и обретают свое качество акторов» (с. 29). Продуктивность такого угла зрения опять же прекрасно продемонстрирована Миллером во всех последующих главах его книги.

Другое дело, что, во-первых, «методологические основания» самого «ситуационного подхода» обрисованы не менее широкими мазками, чем это делают в своих текстах адепты подхода регионального; что, во-вторых, в таком виде «ситуационный подход» оказывается приемом, в рамках других дисциплин – хотя бы политического анализа – совершенно тривиальным (и вообще первым, даже нулевым условием минимальной вменяемости такого анализа). Впрочем, это больше говорит о современном состоянии исторической науки, для многих представителей которой то, например, что «число акторов, взаимодействовавших в том или ином регионе, по тому или иному вопросу, неизменно было больше двух» (с. 8), и впрямь способен стать поистине революционным открытием, чем о недостатке новизны и важности сделанных

Миллером методологических предложений. На подобном фоне они обоснованно претендуют на оба этих качества.

Другие выдвинутые в первой главе тезисы кажутся столь же неоспоримыми. «При изучении национальной политики и процессов формирования наций, во всяком случае применительно к длинному XIX веку, важно держать в поле зрения *макросистему* континентальных империй Романовых, Габсбургов, Гогенцоллернов и Османов» (с. 33). Действительно, адекватное понимание обеспечивает только такой широкий контекст: цепочки причинностей пересекают имперские границы, подвижны и прозрачны сами эти границы, имперские правительства заимствуют друг у друга административные и политические технологии, формально внутриполитические решения немедленно получают внешний резонанс *et vice versa*. Не слишком удачным кажется разве что само слово «макросистема» – его семантика подразумевает наличие некоей более или менее стройной, возможно, и рациональной структурной организации, элементы которой специализированы и подчинены исполнению генеральной функции. Корректнее было бы говорить о спонтанно сложившемся «ансамбле» или, скажем, «биоценозе» континентальных империй, но это замечание не претендует быть чем-то большим, чем терминологической придиркой. Точно так же и указание на значительный потенциал сравнительного подхода к изучению империй (причем уже не только континентальных, но и морских – «эта фронтальная оппозиция сегодня успешно разрушается», а «область, в которой такое сравнение может быть особенно плодотворно... – это процессы строительства нации в имперском ядре», с. 49, 50) может вызвать возражения разве что у тех, кому компаративный метод труднодоступен по объективным причинам – в силу невладения достаточным фактическим материалом

и / или иностранными языками. В целом же обращение Миллера к вопросам метода показывает, как много пользы способно принести соблюдение в общем-то нехитрых условий: внимания к самим этим вопросам, осведомленности о новейшей литературе (без различия западной, восточной и российской) и бескомпромиссного следования требованием здравого смысла и элементарной логики.

Наконец, несколько слов о *политическом* контексте монографии Миллера, который, собственно, и сделал ее заметным публичным событием. В том, что история сегодня является мощным политическим ресурсом, нет ничего принципиально нового. Ясно, что она была им всегда. Значение этого орудия (оружия) особенно выросло в период становления европейских национальных государств, то есть в том самом «длинном XIX веке», который и исследует Миллер. *Builded nation* или *failed state* – дилемма, перед которой стоят сегодня десятки европейских и азиатских политических образований, внутренне, а часто и внешне, даже в нюансах, подобна тем вопросам, которые решались тогда. С особенной остротой она стоит перед Россией – все еще не ставшим нацией «имперским ядром» (имперским перифериям в этом отношении проще). Россия и не сможет ею стать, не сформировав интегральную и интегрирующую версию своей истории, – что сложно, поскольку имперский компонент в ней, во-первых, доминирует, во-вторых, обладает наибольшим травматическим потенциалом. Поэтому так современно и звучат многие суждения Миллера относительно дел вроде бы давних (но совсем не забытых и активно вовлекаемых в актуальные конфронтации) и тем более его прямые высказывания о сегодняшнем положении вещей. «...Возникает ощущение, что многие историки не находят адекватных форм для выражения своей гражданской ангажированности. Вместо того чтобы написать полито-

логический или просто политический текст о волнующих их современных политических вопросах, они пытаются так или иначе реагировать на них в своих исторических сочинениях» (с. 26). «...Важно, чтобы историк обращал свой критический взгляд на те концепции воображаемой географии, которые распространены именно в его обществе, и противостоял тем более или менее осознанным манипуляциям с ментальными картами, к которым так часто бывают склонны и политики, и, к сожалению, многие из его коллег по ремеслу, участвующие и в формировании образов врага или «чужого», и в пропаганде политических идей, основанных на историческом детерминизме» (с. 27). «...Именно сейчас мы можем видеть смену политического контекста и влияние этого фактора на научный дискурс об истории России» (с. 45).

В приведенных цитатах вновь нет ничего особенно революционного. Не только сегодняшний мейнстрим делает вызовом и призывом к мужеству напоминание о самых триумфальных и традиционных основаниях профессии историка – на самом деле это оказывалось вызовом и призывом всегда. Поэтому ответ на имплицитно содержащий в себе упоминание вопрос, заданный Миллером: «Можно ли вернуться к истории империй не как к имперскому нарративу, обслуживающему какие-то актуальные политические интересы, но как к истории оконченного прошлого» (с. 27), конечно, окажется отрицательным – просто потому, что прошлое не заканчивается никогда, а, казалось бы, законченное прошлое легко возобновляется и оборачивается новой кровью (о чем автор, разумеется, прекрасно знает). Но одновременно, на той же странице звучит и ответ положительный: «...Именно историк прежде всего должен заботиться о том, чтобы инструментальное отношение к истории было насколько возможно ограничено, потому что кому же еще об этом заботиться» (там же). Миллер

заботился именно об этом. И смог многое — в пример и поучение коллегам. Чего бы ни требовала политическая конъюнктура (российская, украинская, польская — какая угодно), долг историка по призванию и профессии

от того не меняется. Книга Алексея Миллера свидетельствует, что исполнение этого долга остается возможным. ■

СВЯТОСЛАВ КАСПЭ

Майкл Хардт, Антонио Негри. Множество: Война и демократия в эпоху Империи / М.: Культурная революция, 2006. XLI+514 с. Вступ. ст. В.Л. Иноземцева: с. VII—XLVIII. Указ.: с. 485—508 (Центр исследований постиндустриального общества; журнал «Свободная мысль—XXI»)

Pоценцируемая монография во многих отношениях своевременна, и далее я объясню почему, а пока замечу, что она не имела шансов появиться в другое время — скажем, раньше конца 1990-х. В 70–80-х годах прошлого столетия книга, посвященная современности, просто не могла содержать в названии словá «империя» или «эпоха империи». В то время было принято считать, что империи канули в вечность и, как отмечал Доминик Ливен, само «понятие „империя“ исчезло из языка политических дискуссий и стало достоянием историков»¹. Однако быстро выяснилось, что это не так. Распад Советского Союза вдохнул новую жизнь в термин: исследователи, а за ними и политики начали задним числом определять СССР как империю, правда, чаще всего с эпитетом «последняя». Но такое уточнение тоже оказалось преждевременным, поскольку вскоре (уже в первой половине 1990-х) новое широкое определение империи само приобрело черты «империализма», стремительно захватывая всё новые научные территории и объекты анализа. Империей теперь называли не только Советский Союз, но и его наследницу — Россию. Затем это название было распространено на объект, представивший собой уже не отдельное государство,

а их совокупность: «империя» стала синонимом всего бывшего социалистического лагеря.

К концу 1990-х годов научное сообщество уже было вполне готово принять «безразмерные» трактовки понятий «империя» и «имперский порядок», в том числе и предложенные в первой книге Майкла Хардта и Антонио Негри². Соавторы — американский литературовед и итальянский политический философ — стали именовать «империей» уже не отдельно взятые государства, захватывающие другие, и даже не группы государств, а весь глобальный мировой порядок, сложившийся после того, «как перед капиталистическим мировым рынком окончательно рухнули барьеры советской системы»³. Таким образом, распад советской системы и в этом случае послужил отправной точкой для конструирования образа империи, на сей раз глобальной⁴. Впрочем, у данной идеи есть и другие источники. Мыслители марксистского толка начиная с 1950-х характеризовали современный мировой порядок в терминах «неоимпериализма», и лишь с ослабеванием влияния марксистских идей соответствующая терминология стала забываться⁵. В этом смысле обе книги наших авторов об «Империи» представляют собой то новое,

что произрастает из хорошо забытого старого. Хардт и Негри, по их собственным словам, «идущие по стопам Маркса», придали марксистскому концепту империи и империализма видимость теоретической респектабельности, что позволило ввести его в современный академический дискурс. Их первая книга стала интеллектуальным событием начала 2000-х годов, и сейчас трудно представить себе академические публикации (по крайней мере, европейские и американские) на темы глобального мирового порядка или империоведения без ссылок на нее.

Не могу удержаться от предположений относительно судьбы второй, рецензируемой здесь, книги двух авторов в России. Если бы не нынешняя апатия к теоретическим диспутам, то я бы предрек ей участие одной из самых обсуждаемых в интеллектуальной среде. Критический подход Хардта и Негри к современному мировому порядку и их негативные оценки главных его акторов, похоже,озвучны настроениям, преобладающим ныне в российском обществе. Вместе с тем ключевые теоретические конструкции книги, такие, как «глобальная Империя и ее эпоха», «глобальная и перманентная война», «множество как классовое понятие», «биовласть», и другие, наверное, вызовут споры. Думаю, что дискуссию может подстегнуть идеологический и политический пафос (скорее даже подтекст) новой книги, который здесь намного заметнее, чем в первой «Империи».

Само название книги «Множество», как отмечают авторы в предисловии, отражает задачу обоснования некоего политического проекта, который должен стать альтернативой «имперскому порядку». Впрочем, далее обнаруживается, что в книге содержится еще один проект, который призван служить иной цели, а именно содействовать приведению доктрины Маркса о противоборстве «труда и капитала» в соответствие с требова-

ниями эпохи постмодерна. «Для новой действительности, — разъясняют авторы, — требуются новые концепции. То есть, если следовать предложенному Марксом методу, сейчас нужно отойти от самой Марковской теории настолько, насколько изменились объекты ее критики — капиталистическое производство и капиталистическое общество в целом. Проще говоря, чтобы идти по стопам Маркса, надо фактически пойти дальше него самого и построить на основе его метода новый теоретический аппарат, адекватный нашей нынешней ситуации» (с. 180). Одна из новаций книги — это само понятие «множество». Оно хотя и использовалось в постмодернистской социологии, но не имело той классовой направленности, какую придали ему Хардт и Негри в попытке заменить им такие традиционные для марксизма категории, как «народные массы» и «рабочий класс». В отличие от них «множество» — это не однородная масса, а совокупность разного рода социальных и культурных групп, сохраняющих свою идентичность, самосознание, индивидуальную субъектность, но объединенных общей судьбой класса, эксплуатируемого мировым капиталом в глобальной империи (см. с. 131–134). К обоснованию и объяснению этого многопланового ключевого понятия авторы возвращаются неоднократно, посвящая ему значительную часть своей книги. Приведу лишь одну из таких дефиниций: «С социально-экономической точки зрения множество представляет собой общий субъект труда, то есть подлинное, воплощенное в жизнь постмодернистское производство... Капиталу хотелось бы превратить множество в органическое единство, точно так же, как государство стремится переплать его в народ» (с. 131–132). Далее следуют пространные рассуждения о том, как «множество» попадает «в кабалу глобально-го капитала» и сопротивляется «его имперской мощи». Этот отрывок резко контрасти-

ирует по стилистике и языку с другими, академически выдержаными разделами книги. Он завершается футурологической картинкой, эпический стиль которой напоминает то ли «Коммунистический манифест» с его образом бродящего призрака, то ли библейское пророчество. Авторы предсказывают «множеству», как новому эксплуатируемому классу, конечную победу в борьбе против имперской монополии всемирного капитала: «Со временем, развив свой потенциал, основанный на такой общности, множество способно пройти сквозь Империю и выйти на волю, чтобы свободно выражать себя через самоуправление» (с. 132). Чем не народ Моисея!

Использование в книге разнородных стилистических приемов в общем-то не вызывает неприятия, а вкрапленные в текст и выделенные специальным шрифтом миниатюрные культурологические эссе даже придают работе определенный шарм. Вполне оправданы стилевые различия и в тех случаях, когда они обусловлены междисциплинарным характером исследования. Что действительно режет глаз, так это стилистические разрывы, происходящие из соединения двух разных проектов — научного, представляющего интерес для широкого круга читателей, и пропагандистского, который продиктован прокламируемой авторами задачей обновления и актуализации концептуального репертуара левых политических движений (с. 272). Второй проект рассчитан скорее на узкий круг партийных единомышленников, которых могут заинтересовать также и обширные экскурсы в теорию марксизма.

Хардт и Негри подчеркивают, что они опираются на идеи Маркса не только при постановке задач и в методологии исследования, но и в самом способе презентации его результатов (с. 78–79). Структура книги, состоящей из трех частей — «Война», «Множество», «Демократия», — выстроена в полном соответствии с марксистской

традицией, о чем нам и напоминают авторы: «Мы приступили к делу со стороны противодействия мятежам по той же причине, по какой Маркс в предисловии к первому тому “Капитала” объясняет, почему разговор о богатстве предваряет у него обсуждение труда, который, собственно, служит источником богатства» (с. 88). Складывается впечатление, что частные ссылки на теорию Маркса играют роль своего рода извинений, адресованных марксистскому сообществу, за нововведения и призваны подчеркнуть преемственность таких новаций с классическим марксизмом.

На мой взгляд, наиболее содержательные разделы рецензируемой книги посвящены анализу «американской исключительности» и оценке влияния данного феномена на ход мирового развития. Авторы показывают, что это представление зародилось в то время, когда США действительно были исключением на фоне обветшавших европейских форм самодержавного суверенитета и служили «маяком республиканской благодати в мире» (с. 19–20). В политическом сознании американцев, рассматривающих свою страну в качестве естественного мирового лидера в области защиты демократии и прав человека, подобная самооценка сохраняется и по сей день. Вместе с тем в последнее время все более существенную роль в обосновании американской исключительности играет фактор мощи (экономической и военной), что вызывает к жизни новую трактовку американской исключительности и ставит Америку выше закона. Исключительное положение США в мире низводит международные институты до уровня инструментов американской политики или даже простой декорации, лишая международное право своей институциональной инфраструктуры и, по сути, разрушая всю правовую систему, сложившуюся в эпоху модернити.

Неожиданный ракурс этой проблемы представлен в книге анализом возрождения (и его последствий для международной политики) идеи «справедливых войн». Перекликающаяся с мотивацией религиозных войн Средневековья, эта идея вновь всплыла в контексте борьбы с международным терроризмом, внеся моральный аспект в легитимацию военных действий. Между тем мораль, как известно, не универсальна. Она имеет собственное лицо в разных социальных и культурных группах, и поэтому на «справедливость» своих действий ссылаются в равной степени все стороны региональных конфликтов современности. «Правовые структуры, — отмечают авторы, — традиционно обеспечивали более стабильные рамки для легитимации, нежели нравственность» (с. 45), но как раз право (национальное и международное) понесло наибольший урон в результате возрождения концепции «справедливой войны». Тонкий, остроумный анализ демонстрируют авторы и при объяснении других опасных сдвигов, происходящих в системе общественных отношений в процессе трансформации существующего мирового порядка. Речь идет о взаимосвязи концепции «гуманитарной интервенции» с ограничениями национального суверенитета, о подрыве монополии государства на насилие и легитимации всякого иного насилия, о «врёменных» ограничениях прав граждан в условиях перманентной войны и пр.

В каждой из трех частей книги читатели, несомненно, найдут для себя много нового и интересного в характеристике современных теорий глобализации, мировой экономики, политических институтов и, наверное, по достоинству оценят мастерский анализ дисфункций мирового порядка. Однако чувство удовлетворения тут же исчезает, как только натыкаешься на сюжеты, в которых авторы переходят от анализа реальных тенденций к конструированию цельного обра-

за современного мира, скрепленного якобы единственным имперским порядком. В монографии прекрасно показана *нынешняя дезорганизация международных отношений, но в ней отсутствуют доказательства существования нового имперского порядка, заявленного авторами в качестве главной теоретической новации.*

По замыслу Хардта и Негри роль демиурга империи принадлежит перманентной глобальной войне. «Внутри Империи, — пишут они, — невозможно избежать состояния войны, и конца ей не видно» (с. 14). «Общее и всемирное состояние войны» порождает необходимость формирования особого аппарата управления (точнее, подавления), собственно, и именуемого «глобальной Империей». Непрерывная война рассматривается в качестве одного из основных признаков наступления новой эпохи постмодерна, поскольку в период модерна «война считалась особым, исключительным состоянием» (с. 17). При столь значительной нагрузке на теоретическую конструкцию, характеризующую вступление мира в состояние перманентной глобальной войны, хотелось бы получить весомые доказательства того, что такая эпоха действительно наступила. Однако здесь читателей ждет полное разочарование.

Во всем обширном тексте книги нет иных аргументов, подтверждающих наступление эпохи постоянных войн, кроме нескольких беглых упоминаний о «бесчисленных войнах общемирового значения» с весьма приблизительно очерченным ареалом их проявления наподобие следующего: «... на пространстве от Центральной Африки до Латинской Америки, от Индонезии до Ирака и Афганистана» (там же). Бессспорно, войны и вооруженные конфликты во всех этих регионах вспыхивают постоянно, однако их большая часть не имеет ни малейшего отношения к наступлению некоего нового исторического периода, как его ни назо-

ви – «эпоха Империи» или эпоха постмодерна. Одни из таких конфликтов представляют собой те же межплеменные и межэтнические столкновения, которые происходили и сотни лет назад до раздела мира между классическими империями Нового времени, другие же представляют собой как бы шлейф распавшихся империй, то есть не завершившегося в XX веке процесса деколонизации. Зоны наивысшей напряженности сосредоточены как раз в тех частях мира, которые не только не вступили в эпоху постмодерна, но и не приблизились еще к фазе модерна, характеризующейся, по справедливому замечанию самих авторов, господством национальных государств. Например, тот факт, что в арабском мире до сих пор в ходе термин «единая арабская нация», свидетельствует, что нации-государства здесь еще не сложились, так же как и во многих других регионах Азии, на большей части Африки да и Латинской Америки. В этих местах государства представляют собой неустойчивые конгломераты народностей, конфессиональных или расовых групп, ведущих между собой борьбу за физическое выживание. Фрагментарная и непоследовательная глобализация и зачастую форсированная извне демократизация усиливают эту неустойчивость, вводят не оформленные еще нации не в постмодерн, а в *кроссмодерн*, для которого характерно хаотическое сочетание в одном социуме самых разных политических традиций, выхваченных из разных эпох⁶.

Все это во многом и порождает этнорелигиозные конфликты, которые трудно назвать «войнами мирового значения», поскольку в большинстве случаев они если и затрагивают так называемое мировое сообщество, то лишь косвенно. Только часть войн, перечисленных авторами, действительно знаменуют существенные перемены в системе международных отношений. Прежде всего это интервенционистские войны в Афганистане

и Ираке, развязанные вслед за событиями 11 сентября 2001 года. Обе «антитеррористические операции» носили, во всяком случае по версии их инициаторов, превентивный характер. Они осуществлялись группой стран при весьма слабой и сугубо декоративной легитимации их действий международными организациями. Ясно, как эти войны разрушают сложившийся мировой порядок, но совершенно не понятно, что позволяет авторам книги вывести из этих военных конфликтов образ *нового имперского порядка*. Во-первых, подобные интервенции подрывают значение международных институтов, рассматриваемых авторами (еще в первой книге) в качестве составного элемента имперского «аппарата управления, который постепенно включает все глобальное пространство»⁷. Во-вторых, эти войны обозначили границу применимости вооруженного насилия как орудия принуждения национальных государств стать частью такого мирового порядка, каким его хочет видеть мировой гегемон. В наши дни стало особенно очевидно, что такой инструмент неприменим к государствам, обладающим ядерным оружием, даже если это КНДР, не говоря уже о России или Китае. Трудно представить себе, как эти и многие другие государства могут быть принуждены войти в состав некой Империи, хотя в книге об этом говорится как о свершившемся факте.

На мой взгляд, авторы не столько нарисовали образ современного мира, сколько зафиксировали свой собственный образ мыслей, в котором Империя предстает всего лишь традиционной марксистской метафорой «несправедливого мира», а эпоха Империи – образом «смутного времени», когда господствуют «нелегитимное насилие», «вооруженная глобализация» и «глобальный апарtheid». Метафоричность мышления и языка авторов отмечают и другие рецензенты трудов Хардта и Негри. Так, Д. Ливен

подчеркивает, что, когда постмарксизм приобретает постмодернистские черты и вторгается в область истории культуры, он уводит нас так далеко от проблем, которые являются предметом дискуссий между историками империй, что конструктивный диалог становится практически невозможен, и не в последнюю очередь потому, что «язык, на котором ведутся постмарксистские постмодернистские дискуссии, мало похож на обычный»⁸.

Вот и в рецензируемой книге практически отсутствует эмпирическая основа. Весь текст – это сплетение сугубо умозрительных построений, одни из которых весьма изящны, другие тяжеловесны, напоминая своей жесткостью и неустойчивостью любимые авторами империи и будучи, как и последние, обречены на распад. Даже небольшие критические замечания грозят обрушением всего теоретического здания, поскольку его блоки недостаточно точно подогнаны друг к другу. Так, если тезис об идущей глобальной войне не подтверждается, то рушится и вся линия доводов, связанная с существованием имперского порядка и наступлением «эпохи Империи». Это в свою очередь ставит под сомнение появление нового глобального класса, который якобы формируется в борьбе с глобальной же империей и должен по замыслу авторов «использовать империалистическую войну для перехода к войне революционной» (с. 119). Российские читатели, несомненно, быстрее европейцев вспомнят, как эта формула звучала в ленинском первоисточнике, как она применялась в российских условиях и к каким последствиям привела страну да и весь мир. Возможно, поэтому наши отечественные читатели окажутся менее терпимыми, чем их западные коллеги, к тому, что в состав «множества» претендентов на звание «субъектов, способных воздвигнуть новый мир» (с. 89), авторы включили «красных кхмеров» в Камбодже, талибов в

Афганистане, такие террористические организации, как «ХАМАС в Ливане и Палестине, Новую народную армию на Филиппинах, “Сендеро Луминосо” в Перу, ФАРК и ЕЛН в Колумбии» (с. 111). Еще выше авторы ценят Сапатистскую армию национального освобождения (САНО), действующую с 1990-х годов в Мексике (с. 113). Главная же ставка в борьбе с Империей делается на «антаглобалистские движения, получившие распространение от Сиэтла до Женевы» (с. 115). А вот боевиков колумбийских наркокартелей и головорезов «Аль-Каиды» авторы исключили из списка претендентов на роль строителей нового мира. Оказывается, «их организационным структурам вовсе не свойствена демократия» (с. 119). Пожалуй, лишь в последнем случае мое представление о демократии не слишком расходится со своеобразной трактовкой этого феномена, представленной в работе Хардта и Негри.

Тональность книги трудно назвать полемической, но, пожалуй, единственным исключением является раздел «Тайный советник Самюэль Хантингтон», в котором авторы весьма эмоционально обрушают свою критику на творчество известного американского политолога. Если говорить о причинах столь эксклюзивного гнева, то тут возможны две версии. Первая – конфликт противоположных оценок мирового порядка. В доктрине Хантингтона о столкновении цивилизаций отражен подход, который можно определить как неоконсервативный и даже (тут я согласен с авторами) «неоимперский», как новое издание идеи о «миссии белого человека». В его концепции обнаруживается вполне определенный ценностный подтекст, когда выделяются цивилизации архаичные, неспособные адаптироваться к современной модернизации и те, которые служат носителями прогресса и призваны защитить мировой порядок от глобально-го конфликта. Столкновение цивилизаций –

это не только образ раскола мира по культурно-религиозному признаку, но еще и картина формирования той самой «Империи, как системы глобального апартеида», против которой направлен политический пафос книги Хардта и Негри. Другая версия причин их негодования – это соперничество, в сущности, однотипных позиций. Если внимательнее присмотреться к неомарксистской и неоимперской парадигмам, то нетрудно заметить их удивительное сходство. Ведь и марксисты твердят о глобальном расколе мира, только название сторон противостояния («эксплуатируемый Юг» и «эксплуататорский Север»), а также оценки в терминах «добра» и «зла» у сторон противоположные. В обоих случаях мифологизируется и даже взвеличивается глобальная война, но только для консерваторов она служит оправданием исключительной роли США и их союзников в обеспечении режима глобальной безопасности, а у марксистов обосновывает необходимость формирования глобальных сил сопротивления Империи. Обе концепции сходны и по методологии – это типично эссенциалистские теории, которые базируются на железобетонном историческом детерминизме. Поэтому история предстает в них чуть ли не как предопределенная роком войны.

Жесткость оценок, идеологическая заданность выводов, методологический архаизм обеих доктрин – все это не могло не породить интеллектуальную оппозицию им. Именно так формируется сегодня еще один подход к развитию мирового порядка – неолиберальный. В его основе лежит представление об истории как процессе расширяющейся свободы выбора. На мой взгляд, наиболее последовательным выразителем такого подхода выступает Амартия Сен, который во многих своих трудах убедительно отвергает представления о неотвратимости глобальной войны и столкновения цивилиза-

ций: «Вместо того, чтобы восхвалять бездумную приверженность традициям или пугать мир мнимой неотвратимостью столкновения цивилизаций, концепция человеческого развития требует уделять внимание роли свободы в культурных (и иных) сферах и путем защиты и расширения культурных свобод». Обоснование условий расширения возможности и свободы выбора является наиболее важной частью либеральной концепции развития. Сен подчеркивает, что «множество существующих в мире несправедливостей сохраняется и процветает как раз потому, что они превращают своих жертв в союзников, лишая их возможности выбрать другую жизнь и даже препятствуя тому, чтобы они узнали о существовании этой другой жизни»⁹.

Само появление практически одновременно трех разных картин мира отражает всеобщую, внепартийную обеспокоенность интеллектуалов глубокой эрозией современного мирового порядка при отсутствии признанной целевой модели желаемого будущего. При этом разные картины мира дополняют друг друга. Консервативные оценки причин разлома мирового порядка в основном связаны с анализом разрушительной роли неких внесистемных сил, например мирового терроризма, тогда как марксистский взгляд на проблему позволяет увидеть иные ее аспекты, вытекающие из действий единственной ныне сверхдержавы и ее союзников. Вряд ли нужно объяснять, почему эта, бесспорно, важная сторона проблемы затушевывается в анализе исследователей правоконсервативного толка и слабо отражена в неолиберальной литературе.

Мне либеральный взгляд на мировое развитие ближе, чем марксистский и неоконсервативный, однако именно в свете идеи «свободы выбора» считаю рецензируемую книгу полезной. Она хорошо отражает марксистское видение мирового порядка (существую-

щего и желаемого) и тем самым дает возможность сравнить его с другими более известными доктринаами. Думаю, что неомарксистская идеология как неправительственная, оппозиционная и критическая к современному мировому порядку должна быть сегодня представлена в *идеологической системе сдержек и противовесов* в качестве одного из механизмов стабилизации политической ситуации

ПРИМЕЧАНИЯ ¹ Lieven D. Empire: The Russian Empire and Its Rivals. New Haven: Yale Univ. Press, 2001. P. 22.

² Hardt M., Negri A. Empire. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 2000. См. также: Хардт М., Негри А. Империя / Пер. с англ. М.: Практис, 2004.

³ Хардт М., Негри А. Указ соч. С. 11.

⁴ Там же. С. 12.

⁵ Бейссингер М. Переосмысление империи после распада Советского Союза // Ab Imperio. 2005. № 3. С. 36.

в стране и мире. И наконец, книга Майкла Хардта и Антонио Негри своевременна, поскольку предупреждает нас об угрозах строительства как мировой империи, так и мировой коммуны еще на стадии разработки соответствующих проектов. Предупрежден – значит, защищен. ■

ЭМИЛЬ ПАИН

⁶ См., например: Кроссмодерн: реальные проблемы и стимулы к преобразованиям // Вестник института Кеннана в России. 2005. Вып. 8.

С. 60–69.

⁷ Хардт М., Негри А. Указ. соч. С. 12.

⁸ Ливен Д. Империя, история и современный мировой порядок // Ab Imperio. 2005. № 1. С. 81.

⁹ Доклад о развитии человека. 2004: Культурная свобода в современном многообразном мире / Издано для ПРООН. М.: Весь мир, 2004. С. 17–31.

ГЕЛЬМАН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ — доцент факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат политических наук.

ГУРИЕВ СЕРГЕЙ МАРАТОВИЧ — ректор Российской экономической школы, директор Центра экономических и финансовых исследований и разработок, доктор экономических наук.

ДУБИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ — ведущий научный сотрудник Аналитического центра Юрия Левады.

ЗВЕРЕВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА — научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, кандидат исторических наук.

КАСПЭ СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ — заместитель директора фонда «Российский общественно-политический центр», профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук.

КОНДИ НЭНСИ — профессор Питсбургского университета (США), заведующая отделением аспирантуры по исследованиям в области культуры.

КРАСТЕВ ИВАН — председатель совета Центра либеральных стратегий в Софии (Болгария).

КУСТАРЁВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ — ведущий научный сотрудник Института русской истории Российского государственного гуманитарного университета, кандидат географических наук.

ПАИН ЭМИЛЬ АБРАМОВИЧ — профессор Государственного университета — Высшей школы экономики, доктор политических наук.

РИХТЕР АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ — доцент факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук.

ФОССАТО ФЛОРИАНА — независимый обозреватель, эксперт в области российской политики и российских СМИ, аспирантка Школы славянских и восточноевропейских исследований (Лондонский университет).

Vol. 10, No 4 (33)**COVER STORY****TELEVISION IN SEARCH OF IDEOLOGY****Sovereignty by the laws of clips and serials**

BY BORIS DUBIN

If politics has become more and more televisual, then television for its part has increasingly become a crutch for and a hostage to government policy. The problem is not limited to the overtly propagandistic, politically themed broadcasts, censored and pre-recorded news, made-to-order talk shows with government-friendly pop stars, or even the selection of performers for these set pieces. The other, entertainment portion of today's television in Russia is itself a tool of 'effective politics'. By the end of the 1990s, televised entertainment had already established its canon, built on two vehicles for carrying the entire visual construction of entertaining, non-political TV: the clip and the serial.

Virtual politics and Russian TV

BY FLORIANA FOSSATO

Although mindful of the so-called "stagnation" period of the Brezhnev era, today's rules create different conventions. Loyalty to the president, the pragmatic ability to engage in self-censorship, and the shared wish to re-establish the might of Russia and of Russian national television production vis-à-vis the perceived "American colonization" of broadcasts are essential pre-conditions. Having demonstrated their willingness to accept and play by these rules, federal media managers are invited to cooperate with the Kremlin on television policy and to participate in the televised creation of the new ideology of Putin's Russia. This is the main goal of the Kremlin's current engagement with television in the last years.

Vicarious catastrophe: The Empire watches Death of the Empire

BY NANCY CONDEE

Death of the Empire allows us a local and contingent glimpse of what might be described as an instance of the state personality, embodied in the "imprecise" human figure of Kostin—not really Lenin, not

really Stalin, not really Putin—as well as in the very economic and professional conditions of the text's own making, its ten episodes functioning as the traces of those self-confirming alliances and ideological constraints. Among those constraints have been mentioned the recastings of World War One and the October legacy to new statist criteria, normalizing the former and demoting the latter. Of course, the specifics are negotiated anew each time between the administrators of state-owned television and a filmmaker who is both willing and able to act as a kind of broker for the state face.

Holiday concerts: Old rules for new TV

BY VERA ZVEREVA

The concept of state nationalism, as seen in televised holiday concerts, is evidently intended to reflect a positive Russian civic identity and is conceived as a constructive foundation for a 'new Russia'. This concept consists of stereotypical elements of Russian ethno-cultural nationalism, imperiousness, and nostalgia for the USSR, while employing isolationist and militaristic motifs, such as mobilization, enemy weaponry and images of war. Holiday concerts create a mythologized image of a powerful, flourishing state, which cares for its citizens. They depict an illusory space of unanimity and an imagined commonality of cause among 'the entire nation', providing a form of collective escapism for the state as a whole.

Self-regulation by journalists in post-Soviet states

BY ANDREI RICHTER

Journalists ubiquitously replace social responsibility with 'vertical' responsibility, in which they answer to the state. This, in turn, inevitably distances the mass media from the population at large. There are two primary obstacles to the natural development of journalistic self-regulation: the underdeveloped mass media market and the underdeveloped nature of the journalistic community itself; and the lack of a public understanding of the press as an institution and its role in a democratic society. Although the state

may influence and even take part in the development of the moral principles of journalism during a transition period, these principles must be enacted and enforced by the journalists themselves. Any other arrangement perverts the meaning of self-regulation and limits the freedom of the media.

ARTICLES

Prospects for a dominant party in Russia

BY VLADIMIR GELMAN

The active strengthening of the position of the Unified Russia party in Russian politics begs the question of whether Russia may evolve into a non-democratic regime, led by a dominant party. An example of such a regime would be Mexico from 1929 to 2000. A comparison of the conditions and factors influencing the development of 'parties of power' in Russia and Mexico demonstrates that, despite outward similarities, there are fundamental differences, which bear witness to serious obstacles on the road to dominance for any political party in Russia. These differences stem not only from the current political situation, but also from deeper factors, some of which are inalienable aspects of the

Russian political regime and its chosen domestic and international policy agenda. A likely alternative to the development of a party-dominated regime at the present moment would seem to be a personalized non-democratic regime. Both of these options, meanwhile, contain serious threats for Russia's political development.

State sovereignty in the context of globalization

BY ALEXANDER KUSTAREV

State sovereignty does not dissolve in the process of globalization. Rather, it changes its content and function, recast as a resource to be manipulated. Globalization does not narrow the space for such manipulations, but actually widens it. What the world is witnessing now is not a crisis of the legal principle of state sovereignty, but a crisis of the material configuration of the global economy. The political map of the world is not optimal: it needs to be re-drawn. Inevitably, it will be re-drawn. Indeed, it is being re-drawn. And there is no guarantee that the process will not be unending.

Book Reviews

Our Authors